



Роман "Вадим и Диана" приглашает вас совершить романтическое путешествие с рыцарем Вадимом, который в трудной борьбе с врагами и собственными страхами обретает благосклонность и любовь Дианы. Книга понравится всем современным романтикам и мечтателям, верящим в то, что наша жизнь пронизана любовью и наполнена чудом.

Вадим и Диана

сказочное повествование о начале века

И провести границы

Меж нас я не могу...

Б. Пастернак

Короче говоря, уже приближалась ужасная девальвация слова, которая сперва тайно и в самых узких кругах вызвала то героически-аскетическое противодействие, что вскоре сделалось мощным и явным и стало началом новой самодисциплины и достоинства духа.

Г. Гессе

Посвящение

Поверьте, зная, что слова

Для вас ничто уже не значат,

Я б не являл свои права

И повести б слагать не начал.

Жить можно тихо и смешно,

Простым, как выдох, человеком:

Избрать навеки лишь одно

И покоряться ему слепо.

Но, к счастью, небо для меня

Замыслило иную участь.

И, всуе жребий не кляня,

Я к истине любовью мучусь.

Мои поступки и грехи,

Моё волненье и отрада,

Моя наука и стихи –

Герои этого парада ...

Блуждания

Поезд прибывал в город, как всегда, игнорируя расписание. Дорога как-то сразу не задалась. Я так и не смог прочитать ни одного пожелтевшего листка из «Госпожи Бовари». Сначала отвлекали шумные бойскауты, ехавшие с палатками, котелками и вещмешками на им одним известный пленэр. Потом, как это часто бывает в русских пригородных, пьяный ухарь с пепельно-сизыми губами дёрнул ручку стоп-крана, едва не пустив весь состав под откос. Вконец измучившись дорожными прелестями, я отдал себя в руки сна, надеясь хоть там обрести ускользящий призрак покоя...

Мы-мы-мы, – дрожал мобильный в виброэкстазе. Затем к нему присоединилась увертюра из «Женитьбы Фигаро». Я лениво отодвинул одеяло и нащупал сонной нечувствительной рукой кнопку «NO». Звуки смолкли, но в голове уже проснулась мысль о том, что нужно вставать, проглатывать антипохмельную таблетку аспирина, умываться и жить новый взбалмошный день. Сегодня было не до упражнений. Попытка ещё в кровати покрутить воображаемый велосипед обернулась трескучей болевой волной с неясным эпицентром: ох уж эти дни «после вчерашнего»!

Я знал, что сейчас ещё немного приду в себя и выбегу из общежития в город: пройду мимо армянских фруктовых ларьков, пересеку трамвайные пути, обогну жёлто-белое здание цирка, прогуляюсь по тихому утреннему тротуару. В окошечко газетного киоска высунется смешное личико продавца и между нами состоится примерно следующее:

– Чего желаете, молодой человек? Вот клубничка, вот мм...

– Нет. Спасибо. Мне нужна Последнюю Газету!

– А её сегодня не привезли. Лучше купите...

– Послушайте – начинаю я понемногу кипятииться, – вот же моя Газета пылится у вас на витрине, а вы и не видите – точно спите. Продайте уже скорее. Голова болит.

– Ах, ну да! Её же вчера ещё ...

– Конечно! Мне лучше знать.

– Натенате... Только может купите и ...

– В следующей жизни. Всего доброго, мадам.

Возвращаюсь, на ходу заглядывая в газетные полосы, и радуюсь, если нахожу ожидаемое. Только эта Газета ещё не утратила способность видеть и замечать, способность протестовать, не боясь жёсткого ответа. Только она из ряда вон, глоток свежего воздуха, проблеск надежды... Я не разочарован.

Приятель ждёт меня у входа. В его чертах живёт что-то бунинское. Он догадывается об этой своей особенности и умело несёт её по жизни. Строгие губы легонько играют дымящейся сигаретой. Я заговариваю первым:

– Прочитал, что наш век полностью упразднит половые различия. Мужчин и женщин, в нашем с тобой понимании, больше не будет, но появится человек вообще – окончательно завершённый и неделимый.

– Ересь, друг мой! Ересь и дичь!

– Возможно. Но если теоретически удалиться лет эдак на ...

– Дичь полнейшая, с особой лживой подливой. Хорошо приготовленная дичь.

– С тобой трудно.

– С тобой тоже.

– Здравствуй.

– Привет.

Быстро миновав холодные дворы постмодерновских зданий, дразнящих небо мнимой черепицей, мы выходим к трамвайной остановке; ждём, не садясь на облупленную красную скамейку, и я опять завожу разговор:

– На днях заседали в «Золотом сердце». Знаешь, я, кажется, увлёкся. Нет, брось морщиться и жамкать. Она ... представь себе ... прямая иллюстрация к одной моей записи ... сейчас вспомню ... так кажется: «Женщина смугла, зеленоглаза и затаённо оскорблена».

– И это всё, что ты увидел в ней?!

– Нет, но остальное тебе знать ещё рано... И мне тоже.

– Глупости, друг мой. Женщину, как и рыбу, прежде чем съесть, надо оглушить. Или ты не собираешься превращать предмет обожания в объект потребления?

– Варвар.

– Елейный мальчик.

– Влюблённый мальчик.

– Эх, жаль, что не наш трамвай, другой маршрут ... Влюбился он! Ха... Такое практически невозможно в этом веке. Только обладание здесь и сейчас делает нашего современника счастливым.

Проходящий транспорт утаскивает на боковых стёклах отражения наших слегка сонных лиц. Через несколько минут мы уже трясёмся всем существом тела, металла и стекла над полурастаявшим полотном реки. Вдали серебрится церковный шпиль, похожий на одинокую корабельную мачту. Странно, но уже в трамвае я чувствую тонкий аромат ладана, благоухающего гарденийей. Он исходит не то от кондуктора, не то от соседа в коротком ёжике редких волос, победивших – как я представил – последствия химиотерапии. А может, это сама церковь наполняет окрестности святым благовонием...

К храму нужно было подниматься в гору по хлюпающей весенней дороге, которую прорезали во все стороны овражки ручейков. Мы шли довольно споро, обмениваясь – не глядя друг на друга – краткими описательными репликами. Из маленьких, наглухо обшитых тёмной доской, двориков на нас глядели печальные физиономии жителей окраин. Чуть впереди скрипнула тяжёлая, выше человеческого роста, калитка и на обочине показалась женщина в годах с торжественным пучком вербы. Местность вздрогнула от первого удара колоколов ...

Я невольно очнулся. Поезд продолжал стальным монотонным гулом отписывать вёрсты, а в кармане джинсов угрожающе нарастала пещерная симфония Грига. Со мной хотел говорить Станислав Коцак.

– Здравствуй, милый Асмодей! – выпалил я ему первое, что пришло в голову.

– Хоу... В самое сердце... Привет! Ты в каком сейчас положении?

– В сонно-сидячем.

– Значит, едешь где-то?

– Да. Опять ты обо всём догадался...

– Нет, просто сверил даты и допустил предположение...

– А я так желал тайного приезда.

– Что ж, я постараюсь сохранить твою тайну часа на два. Предлагаю отправиться ко

мне: немного выпить, поболтать, решить вопросы...

– Вопросы?!

– Ерунда. Я зову тебя на домашнюю встречу без женщин. Супруга с дочкой укатили к тёще в Битово. Скажи лучше – сколько ещё твоему зелёному чудовищу пыхтеть до города?

– Минут двадцать.

– И это воодушевляет меня. Я на авто. Буду ждать возле памятника Савве. Звони!

Коцак прервал связь, не дожидаясь ответной реплики. Он всё решил заранее. Он – мой вездесущий знакомый Станислав Германович Коцак. Я теперь и не вспомню, как проступил в моей судьбе этот чрезвычайный персонаж. Только он со своим даровитым чутьём мог собрать в одном месте представителей золотой молодёжи, начинающих писателей, стритэйджеров, менеджеров среднего звена, ультралевых маргиналов, панков, дизайнеров-флористов, провинциальных студентов юрфака, мнимых и явных гомосексуалистов, журналистов und anders mehr [1].

Коцак всегда находил нужные слова, жесты, эмоции, которые подобно машинному маслу сглаживали трение между абсолютно разными деталями. Я не говорю о том, что все с полуслова начинали понимать друг друга или – что ещё менее реально – проникались к друг другу уважением. Здесь творилось иное. Станислав умел, как стало теперь модно говорить, оптимизировать коммуникативную ситуацию до предела. В процессе общения, незаметно для всех сразу, он заключал с каждым в отдельности мини-соглашение, обязывающее стороны неукоснительно выполнять правила, предложенной Коцаком игры.

Тематика дискуссий не знала рубежей. Под магическим руководством Станислава наши почти трезвые посиделки превращались в клубные саммиты большой тройки, десятки, двадцатки... Количество собравшихся атмосферу не меняло. Высказаться мог каждый. Глупых не осмеивали, умным речам даже аплодировали, хотя очень сдержано и, как правило, девушки.

Тем памятным вечером (он действительно был таким!) Станислав собрал тусовку в элитном – по меркам этого города – клубе «Золотое сердце».

– Господа и дамы (Коцак расставлял акценты в зависимости от гендерного большинства), мы вновь собрались вместе, дабы обсудить в режиме напряжённого полилога острейшую проблему современности...

Заглавной темой выступления был объявлен феминизм. Я принёс сложенную втрое статью из Последней Газеты. Вырезка прошуршала по кругу, вызывая у собравшихся разнообразие реакций. Особи мужского пола в большинстве своём читали быстро, порой хихикали, а местами покачивали головой, нарочно проговаривая особенно спорные строки. Девушки, напротив, читали довольно медленно – кроме тех, чьи мысли уносились далеко за пределы и этой темы, и этой залы – проверяя, как мне казалось тогда, корректность каждой запятой.

Коцак пролетел столбцы и тут же передал газетный листок миловидной девушке с чёрными, как угольная руда, волосами, опустившимися чуть ниже округлых женственных плеч. Лицо незнакомой леди играло кофейно-сигарными оттенками, приобретёнными либо в солярии, либо намного южнее этого внесезонного города.

Станислав поймал мой неприкрытый томно-любопытствующий взгляд и принялся что-то быстро строчить на клочке бумаги, прикусывая нижнюю губу боковыми зубами верхней челюсти. Когда начались дебаты, он незаметно передал мне своё послание, где нервным скачущим почерком отобразил следующее:

« Не хочу злобствовать, но это не твой формат. Хочешь резюме? Вот оно! Зовут Ренатой – по крайней мере, так она представилась в телефонной версии разговора. Дальше мои догадки. Работает в туристической фирмочке, а может в салоне красоты. Ездит отдыхать на респектабельный арабский юг, где заводит бесчисленные знакомства со второсортными мачо. Конечно, стилига, но не извращённая, а так – в меру собственных сил. Любимый напиток – кофе. Любимая еда ... кофе. Курит что-нибудь тонкое и ароматное. По выходным истязает себя в фитнес-зале. Думает о диете. Ты всё ещё хочешь с ней познакомиться?!»

Говорили много. Много из того что говорили я не запомнил: смотрел на Ренату и уже мечтал как мило буду беседовать с ней за отдельным столиком в глубине зала, где феминизм отступит, и нам никто не помешает приятно провести остаток вечера. Рената бесцельно вертела прозрачную шариковую ручку и время от времени волновала меня обжигающей зеленью раскосых глаз.

Мне не хотелось вступать в какие-либо прения. Как выяснилось, охотников всерьёз поговорить о проблеме феминизма нашлось предостаточно. Обсуждение шло весьма бурно и мне даже стало слегка неловко от того, что я – прежде заводила и провокатор – молчал, словно обиженный ребёнок. Впрочем, сегодня я мог позволить себе любую вольность. На предыдущих шести «семинарах» я «отвечал» почти блестяще и даже удостоился «Премии Коцака» размером в одну тысячу рублей, от которой вежливо отказался. Мне тогда было совсем непонятно – по какой такой веской причине Станислав раздавал деньги случайным людям сомнительного интеллектуального достоинства.

На сей раз за «Умение отстоять свою точку зрения» денежное поощрение получила (позволю себе пелевинский каприз) сетевой философ Dio_Gen, закончившая до мозга костей феминистский монолог взрывным пассажем:

«Мир спасёт женщина. И это не пустые слова. Современные мужчины должны принять новые правила. Они прошли свой зигзагообразный, подчас смешной, и в то же время очень тернистый путь. Они были рычащими неандертальцами, с гниющими меж зубов кусками мяса. Статными воинами, таскавшими на своих плечах груды металлолома. Ловкими торговцами, которые не боялись смерти от разбойничьих стрел на пути из варяг в греки. Жестокими монархами, восседающими на шатком троне собственной мнительности. Блестящими политиками и дипломатами, что отстаивали честь страны в словесных баталиях. Наивными художниками и философами, шедшими за идеалом, святым Граалем, философским камнем, Прекрасной Дамой, ныряющими из аскезы в лоно разврата. От природы они были широкоплечи, а от цивилизации сделались слабодушны. Наши мужчины стремительно теряют пассионарный импульс, который на протяжении такого длительного срока обеспечивал им полное превосходство над нами. Теперь пришла новая эра. Эра феминности, эра красоты и благозвучия, эра любви. В женщинах накопилась колоссальная созидательная энергия. Мы (она плавно провела кончиками пальцев по груди) – это будущее! Спасибо всем кто думает также».

Женская половина тусовки, достойная по числу и разнообразию участниц, дружно зааплодировала: некоторые хлопали стоя. Рената тоже хлопала, но больше своими длинными, лихо закрученными вверх, ресницами. Она встретила мой взгляд и улыбнулась, обнажив красивые ровные зубки. Они-то и стали последним приятным воспоминанием того вечера.

Хороших русских столов не бывает, что выяснилось очень даже скоро. Среди шума и гама всеобщего разгула я потерял прекрасный image Ренаты. Помню, заказал ей мороженого

с кусочками ананаса, но пропел сотовый и она покинула сборище в поисках тишины. Тут же из сигарного дыма возник Коцак и я, ослеплённый музыкой и алкоголем, легко уступил его словесным тенётам...

– И так, дорожные жалобы, а затем в магазин.

– Хочу нарушить ваш сценарий, Станислав Германович.

– В каком акте?

– В том, где предполагается моя дорожная исповедь.

– Значит, сразу в магазин?

– Достойное решение.

– Едем. Но держи в голове – к жанру исповеди мы сегодня ещё вернёмся.

Через малое – не стоящее подробного описания – время тёмно-синий «Opel» Коцака подъехал к величественному жёлтому зданию с большими окнами и рядом белоснежных коринфских колонн. На фронтоне палаццо декларативно сиял год сотворения – это был 1937 - ой год. В боковой нише безликая советская Венера держала над головой каменный шар, готовый обернуться и символом мира, и спортивным снарядом, ожидающим движения сильных рук вечно юной комсомолки. Чугунные створы ворот медленно разверзлись и мы почти триумфально въехали под тиранически массивные своды арки.

– Ты впервые у меня.

– Странно ...да?

– Совсем нет. Я затворник и случайностей на моей территории не бывает.

– Видимо, я чересчур поспешно составил твой портрет.

– Ах... И не ты один.

Квартира Коцака самодовольно выставляла последствия ремонта. Меня удивило само четырехкомнатное пространство его семейного жилища. О том, что семья у Коцака действительно была, говорили разбросанные по прихожей детские игрушки и несколько пар элегантной женской обуви, выдающие пол ребёнка и вкусы супруги. Высокие потолки прихожей при первом знакомстве поражали кричащей парадностью, чуть сглаженной успокоительным эффектом пастельно-оранжевых обоев. Стену против входной двери скрывала огромная плиточная мозаика, воссоздающая известное полотно Дали «После дождя». Чуть выше изображения на декоративных крюках лежало старое охотничье ружьё с театрально взведёнными курками; над ним висели портреты Фрейда и Эйнштейна.

– Здесь мой двадцатый век, – прорекламиривал Станислав прихожую, одновременно увлекая меня через арочный проход на кухню.

Я сел за круглый мраморный стол. Хозяин засунул в микроволновую печь два куса курицы и открыл окно, чтобы выкурить привычную сигарету. Его левая рука обхватила бицепс согнутой правой, а ноги то и дело слегка сгибались в коленях, словно принимая на себя груз мыслей, одолевающих вихрастую голову Коцака.

Затушив дымящийся остаток в глиняной пепельнице, Станислав достал из бара бутылку сухого и предложил выпить за «блаженство свободного мужского дня». Сделав два ободряющих глотка, я спросил о первом, что пришло в голову:

– Зачем тебе эти безумные собрания непонимающих друг друга людей?

Коцак неспешно поставил бокал на стол, разгладил большим и указательным пальцами воротничок дорогой серебристой рубашки, сделал на лбу две едва уловимые складочки и слегка прищурил левый глаз... (Наваждение. Его движения отнимали у моего внимания целую вечность). Он заговорил откуда-то издалека, голосом, которого я никогда не слышал:

– Я недавно прочитал одну занимательную книжку. Прочитал быстро, хотя объём был довольно приличный – настоящий романский объём... Я прочитал её и подумал: зачем автору нужен был именно такой персонаж? Знаешь, в его герое слились воедино Крошка Цахес, Смердяков, профессор Мориарти, капустаный слизняк и ещё что-то невообразимое, доводящее до тошноты, до ... Нет, это писано не для пересказа. Коцак попытался улыбнуться, однако получилось очень механическое действие. Улыбка превратилась в трещину на гранитной плите и тут же заросла лишайником задней мысли.

(– Уж не пародия ли ты? – чуть не сорвалось с моих винных губ.)

– Я обожаю экстравагантные поступки. В детстве я проворачивал разные интересные штуки с представителями царства насекомых. Июль. Дача. Я выбегаю на зелёное пространство шести жалких соток и ловлю там крылатых жужжащих тварей для увлекательных опытов на пыльном чердаке. Один раз я посадил в литровую банку шмеля, осу, бабочку-крапивницу, пчелу и здоровую навозную муху. Я думал, что насекомые затеют меж собой драку и до смерти зажалят друг друга, но ошибся. Крылатая братия вместо гладиаторского поединка принялась тупо биться о стеклянную преграду. Наверное, думала, что под общим напором банка лопнет и вот она свобода... Первой выдохлась пчела, за ней шмель и бабочка. Только неуёмные оса и муха продолжали ритуально колотиться о гладкие внутренности тары. Мне быстро надоело их мельтешение и я прыснул в банку шипучим ядом. Все твари, кроме осы, мгновенно подошли. Её полосатое тельце ещё долго умирало в пыли, прилипшей к раме чердачного окна. Какое изящество, какая красота неизбежной смерти! Умиряющего младенца-бабочку невозможно сравнить с эмансипированной женщиной-осой. Настоящей женщиной, готовой ужалить в любую минуту бытия и готовой к небытию в любую минуту блаженства. Пыль, словно мягчайший пух, всё глубже топила в себе тело осы. Она вертелась вокруг таблоидной талии, приподнимала головку и вновь опускала её, чтобы однажды не поднять вовсе. Я смотрел на эту упоительную смерть на раме чердачного окна, а за стеклом полыхали последние пятна заката и сильно-сильно стрекотали кузнечики, отпевая прекрасную свою сестру. С того дня я полюбил, когда получается так – как получилось тогда на чердаке. Сначала шумно, яростно, ново, а потом ... мембрана лопаётся и легко-легко, словно водой сполоснули, словно всё суетное исчезло и остаёшься один. Один на один с открытием и без памяти влюблённым в тебя пространством.

– Станислав, ты что? Станислав! – вскрикнул я, глядя на то, как он начинает задыхаться и ловить губами сытый кухонный воздух. Я метнулся со своего места, но Коцак остановил меня движением руки, подняв большой палец с аккуратно подстриженным ногтем.

– Тише... Не надо бояться... Я не умру сейчас. Это восторг. Восторг, понимаешь! Сейчас ему надоест меня душить и я продолжу исповедь...

Коцак снова ухмыльнулся. Это получилось у него более естественно, нежели в прошлый раз. Он взял со стола бокал, отпил из него немного вина и спросил меня, мягко шевеля посиневшими от приступа астмы губами:

– Почему ты никогда не брал деньги за свои выступления? Неужели раскусил меня?

– Раскусил? Что я должен был раскусить? Ты всегда виделся мне общительным, но слегка сумасшедшим моим современником, способным к благородному жесту.

– Пойдём ка со мной, приятель, – загадочно произнёс Станислав.

Он резко поднялся со стула и жестом пригласил меня следовать за ним. Я подчинился его желанию. Мы прошли сквозь арочный кухонный вход, минули двадцатый век прихожей и, завернув на право, остановились у коричневой двери с позолоченной фигурной ручкой в

виде орлиной головы.

Я не хотел сегодняшнего дня, – сдавленно произнёс Коцак, положив пальцы на птичий профиль. – Но иначе нельзя. Все затяжные авантюры заканчиваются одинаково бесславно.

Я стоял напротив Станислава, прислонившись плечом к ореховому косяку. Коцак пошарил в карманах и извлёк на белый свет фигуристый ключ, намеренно состаренный неизвестным мастером. Три оборота влево, лёгкий толчок и коричневая дверь распахнулась свободно и широко, открывая нашим глазам пространство крошечной тьмы... Перед тем как зайти внутрь таинственной комнаты я посмотрел через большую белую раму пластикового окна. Был май, и голуби решетили невыносимо лёгкую голубизну неба. От крыши соседних зданий – совсем по-летнему – поднимался густой дрожащий поток тёплого марева, искажая и растворяя в своей изменчивости крест новообретённой Успенской церкви. На одной из крыш под жгучими лучами медленно покрывались жёлтой хлебной корочкой большая буква «О» и восклицательный знак, аккуратно выведенные на жести белой строительной краской. «С добрым утром солнышко!» – говорила крыша небу, солнцу, маю и всем принцессам верхних этажей дворца...

– Я хотел, чтобы они любовались мной. Я заставлял их любоваться. А после глядел на них, зачарованных, очень голодно. Так глядел, будто облизывал от пяток до темечка, задерживаясь на впадинах и выступках. Они увлекались. Даже те, которые любили мужчин за выдающиеся финансовые достижения. Так я завоевал свою жену. Так было со многими позже.

Я резко вышел из оцепенения и с трудом разжал онемевшие губы.

– Смотри! – выдохнул Коцак.

Щёлкнул выключатель и темноту комнаты охватило преображение. Сначала показалось, будто бы одновременно разошлись стены, потолок и пол, а сквозь зияющие расселины в ночное пространство вторглись пучки дневных фотонов. Но это было обманчивое ощущение. Через мгновение прорехи оформились в матовые спиралевидные светильники, искусно рассредоточенные по всей комнате. Они ещё поразгорались и после совсем успокоились в мягком светоносном благообразии. Глазам даже не пришлось привыкать к столь неожиданной смене чёрного белым. Им как будто предоставили ту оптимальную зрительную среду, которая не раздражает рецепторов ни яркой избыточностью, ни блеклой скудностью иллюминации.

Комната была разделена на две равновеликие половины. Нет, я не увидел границ или каких-либо резких переходов, или даже сколь-нибудь заметной раздвоенности интерьера. Двойственность, открывшегося передо мной пространства, была иного рода. Плавающий в матовой дымке пол, значительно нёс на своей бликующей спине огромную чёрно-белую печать иньяня, медленно переходящую из стихийной горизонтали в упорядоченную вертикаль. Вокруг печати мягким красным цветом аккуратно (как это умеют учителя русского языка или школьницы-медалистки) искрилась надпись: «Я люблю в тебе всё то, о чём другие даже не догадываются». Вспыхнули светильники. Вспыхнули и тут же погасли. Из темноты послышалось мягкое гудение электроники.

– Слушай, – властно и в то же время очень спокойно произнёс невидимый Коцак.

Тишина прервалась едва различимым электронным писком...

– ... Тогда говори.

– Я расскажу о будущем.

– Что может быть проще? (смех)

– Я, конечно, не являюсь читателем Последней Газеты, однако, пристально живу вместе с вами стремительными днями современности.

– Просим! Просим!

– Хорошо. Кхе-кхе... И так, мои взгляды на то, что будет после меня или ... Ах, будь что будет! С чего бы... А, вот... Будущая политическая формация, друзья мои – это единое полиэтническое государство под управлением вавилонского города. История с определённого момента становится общей. Изучается по следующему принципу: « В это время в объединённой Америке», «В это время в бывшей Европе», « В это время в китайском регионе», «В это время в африканской провинции» и так далее.

– А вот скажи, друг, что будет с журналистикой?

– С журналистикой?! Газеты, безусловно, исчезнут, но ...

На этом месте запись неожиданно прервалась и окружающую темноту вновь всецело завоевала космическая тишина. Я подумал о том, что человек в этой глухонемой тишине должен бояться резкого вмешательства жеста или звука. Возможно, его ударит нечто тяжёлое и острое; не исключён взрыв. И бесполезно готовиться. Бесполезно по той причине, что защититься можно лишь от чего-то конкретного, представимого. Но как защититься от темноты?

Послышалось плавное ускорение диска. Остановка. Тихий, уже привычный, электронный писк...

– Отсутствие в западном обществе акцентированного полюса зла порождает отсутствие смысла, – мягко расплескал тишину чей-то очень знакомый баритон.

– Почему они так боятся обидеть кого-то своей естественностью? Все эти обезумевшие от политкорректности писатели, художники, режиссёры спят и видят как бы сострять что-то ещё более вычурное, чем их собственная неадекватность.

– Господа, давайте не будем повторять ошибки отцов, – вмешался голос Коцака, – в противном случае мы рискуем скатиться к банальностям. Скажите честно, разве бесконечный тупик художественного домысла чем-нибудь лучше приторного медийного позитива? Проблема, господа, в том, что нет альтернативного третьего. Нет достойного, адекватного нашему с вами времени, модерна.

Слева от меня неожиданно вспыхнул светильник да так и замер в утробе мрака матовым прямоугольным маячком, послужив сигналом для джазовой фуги. Я ждал...

– «Lakosta»? Ну, конечно же, «Lakosta»! Я не спутаю этот аромат ни с каким другим. Он твой.

– Жанна... Жанна Вторая!

– Почему вторая? Ах, да... Да ну тебя. Всегда гадость в запасе.

– Не обижайся, Калипсо – ты лучшая в коллекции Станислава Коцака.

– Всё так, но поэма гласит, что Одиссею нужна одна единственная Пенелопа. А я, несмотря на мифическую красоту, всего лишь нимфа, обделённая вашими земными радостями.

– Та нимфа, что родилась в мае под сенью древ полуденной страны, не только миг цветенья продлевает моей короткой призрачной весны...

– А что же? (слышится женский смех)

– ... она саму надежду воскрешает и сжечь мосты к минувшему спешит.

(вновь смех)

– Какие милые наивные стихи. Напоминают радужную пену в ванной.

– Такое, милая, у нас тысячелетье на дворе, – недовольно гудит Коцак.

– Ах, Станик, я ведь не хотела и не знала ... Глупая... Ты сильно обиделся?

– Я?! Не очень... Ты выросла на поэтических головоломках прошлого столетия и не видишь пока, что мир устремился к простоте и ясности древних. Не видишь, Жанна Вторая и Одиннадцатая.

– Хам!

В разговоре возникает пауза, которую тонко оттеняет едва слышимая джазовая fuga.

– Сколько их было! – протяжно выдувает Коцак.

– Десять – если я не ошибаюсь.

– Насмешница... Я о другом. Тут ни одного существенного повторения: ни в цвете глаз, ни в форме губ, ни в объёме бёдер, ни даже...

Слышаться шаги, щелчок и плавное «швах».

– ... ни даже в манере пить шампанское.

– Одержимый Коцак. Совсем больной польский мальчик.

– Вот взять, хотя бы, вас – тебя и твою тёзку. Ведь совершенно разные берега. Один средиземноморский, другой – нордзейский. Цветок и камень, изящная статуя и немая глыба, каприз и чувственная немота. А стиль одежды, а как вы курите, а ... И чёрт возьми, всё это мне уже давно знакомо, пройдено. Это не я о вас – это вы во мне. Живёте внутри и мучаете. Каждый раз вновь. Словно вы божественные исключения, будто не бывало ещё подобных... А ведь это ошибка. Моё повторяющееся нескончаемое заблуждение о себе и о вас.

– Хватит! Есть вещи, которые мужчины должны держать при себе или, на худой конец, рассказывать своим озабоченным матерям. Скажи – ты записал диск?

Последовало резкое свистящее «швах», шаги и джазовая fuga взревела хором античной трагедии

– Записал ... В последний раз.

– Remarkably! [2] Ты прав и я тебе где-то сочувствую. Но что делать, если на дворе такое тысячелетие. Если нет больше Женщин и Мужчин, традиций и правил, греха и раскаяния, если наше существование определяют лишь два стремления – респектабельный артистизм и, убаюкивающий разум, культ обладания. Подумай, какое удовольствие жить без рефлексии, насквозь, голодно жрать бытие и не думать о том, сколько его осталось для нас. Благодарю...

– Ты, Жанет, конечно, умница и умеешь сказать... И всё же ты рано меня приговорила. Я понял. Я только сейчас осознал, что мои псевдо...мои собрания... Одним словом – они нужны мне. И им, Жанет...Им они также нужны. Не только для того, чтобы честолюбивая аспирантка из хорошей семьи написала кандидатскую о проблемах молодёжных субкультур нашего города. Здесь искренность, потребность...

– ...которую подпитываешь ты, угождая мне и своему алкающему эгоцентризму!

– Пусть так! Ты ведь не можешь знать обо всём наперёд. Не можешь вычислить сроки, угадать последствия. Возможно, мне ещё только предстоит обзавестись душой и совершить подвиг.

– Мне нужно в туалет, – устало произнесла Жанна и fuga умолкла.

Когда загорелись светильники я увидел Станислава. Он быстро подошёл к окну, отодвинул в сторону тяжёлую занавесь и несколько мгновений созерцал зрелый май. Потом, глядя в пол, закурил длинную, плотно скрученную сигариллу.

– Комментарии? – обратился он ко мне

–

– Да... Ты ещё не видел моей коллекции.

Коцак хлёстко ударил локтем в обойный фон. Раздалось знакомое «швах», стена вдруг зевнула, на мгновение обнажая пустую темень, и вновь застыла, явив миру пёстрый ряд из одиннадцати фотографий молодых женских лиц и одной незаполненной тусклой ячейки.

– Одиннадцать добытых опасным нырянием жемчужин. Одиннадцать образчиков природной неповторимости и грации. Верно?! Это не просто хобби, приятель. Здесь идея. Смысл. В каждой позе, в каждом жесте, в каждой возрастной черте, в каждой округлости и угловатости. Видишь?!

Длинная сигарилла шпагой порхала от одной фотографии к другой, непроизвольно сверкая малиновым остриём раскалённого пепла и оставляя в воздухе долго заживающие дымчатые порезы. Коцак увлёкся. Чёрные вихры его взбаламученной шевелюры свились по обеим сторонам головы в причудливые бугорки; воротник рубашки, и без того приподнятый по моде, вздыбился ещё выше, затвердел, подчёркивая свистящую резкость движений хозяина. Тут раздался шипящий хлопок и один из матовых светильников распластался на полу нелепым осколочным пятном...

Торопливо, словно сказочный герой, бежавший от злого волшебника, спускался я вниз по широким лестничным пролётам сталинского замка. Уже перед самым подъездом, издалека рекомендуя себя запахом сырости и старушечьего выдоха, я представил как вздрогнет за моей спиной 1937, и как громадина здания тотчас пойдёт мелкими капиллярами трещин, чтобы через долю мгновения обрушиться всей надломленной монументальностью в широкую горловину весеннего проспекта.

Правда, ничего похожего не произошло. Я благополучно вышел из холодного подъезда, смаху и глубоко вдохнув пьянящую испарину, беременного грозою воздуха.

На свободе сразу возникли и ясные мысли, и деятельная бодрость, и воспоминание о сотовом, давно молчавшем во внутреннем кармане куртки. Я удивился, что мне не звонит директор, ведь до конца второго за всю мою предшествующую жизнь отпуска оставалось каких-то полтора дня, о которых думалось с тревожным содроганием. Заявленный мною проект стоял, тогда как сроки его сдачи, движимые усилиями извечной подлости, поджимали под самое горло. Оказалось, что телефон просто-напросто выключился, поэтому мир так долго и не беспокоил одного из своих бесчисленных абонентов.

Я ткнул в кнопку «NO» и маленькое чудо случилось – устройство ответило музыкально-световой улыбкой, а через пару секунд нашло и сеть. Тут же, с интервалом в одно моргание, в мою жизнь прорвались три шустрых sms и таинственно замерцали одиннадцатью цифрами незнакомого моей телефонной книге номера. Я открыл первое из них:

«...привет! ☐ Я вовремя и ты своб-н? по жизни ☐ прости за ... Встретимся?».

Второй текст я открывал с нетерпеливой суетностью:

«Ja odna ☐ A ti? Ti uez#al, da? Chitay Elinek – #est`! I sumochka porvalas`☐ lybimaja ☐ A u tebia nos krasivij i ... brovi ☐ Ti chem-to poxo# na moego deda v molodosti».

Третий, как мне показалось, открылся совершенно самостоятельно:

« Ты в городе – я знаю. Давай встретимся в «Машуке» около семи? P.S. Приедешь?! Рената».

«Откуда она знает мой номер? Впрочем, Коцак мог сказать».

Я посмотрел на электронное табло, где тотчас сменились цифры, выставляя на всеобщее обозрение новую, никогда более неповторимую, пятьдесят шестую минуту шестого часа

этого зачарованного майского дня.

Я снял деньги с карточки в ближайшем банкомате (электронном истукане, озадачившемся моей просьбой на добрых десять минут) и бодро, наполненный разрастающимся предчувствием дождя и грозы, проследовал под куполообразный навес остановки. Большинство ожидающих, как это часто бывает в русских городах, игнорировали предоставленные им государством укрытия. Дружно, точно спортсмены на спринтерском старте, скучились они у бетонной линии бордюра, по-птичьей повернув голову влево, в ожидании невидимой судьейской отмашки.

Напротив остановки свежей зеленью и цветением волновались кроны небольшого сквера, копившего в своей тени разговоры подружек с колясками, пивные ссоры, прогуливающей школу молодёжи, да стрекошующие трели неумолчных дроздов.

Начинало парить. Люди вытирали пот и всё настойчивее заворачивали шеи влево. Иные счастливицы, наконец-то дождавшись сигнала, едва не выбегали на дорожное полотно, видимо полагая, что тем самым сумеют ускорить прибытие, замаячившей вдали маршрутки. Я чуть не опоздал на свою – замешкался у ларька, благодаря жуткой нерасторопности пожилой продавщицы-армянки, крикнувшей мне вслед что-то вроде: «зачем вы так быстро живёте?»

Скрипуче затворив двери, маршрутка понесла нас по одной из центральных улиц города. Мне повезло очутиться возле окна и я приготовился (пусть и не долго) любоваться дорожными случайностями природно-техногенного характера.

«Отчего мир так стремительно расплзается в стороны? Отчего он так скоро меняет обличье, стараясь поскорее забыть себя прежнего? Сейчас бы сделать что-то конкретное, что-то неукоснительно достоверное и твёрдое, чтобы прозвучало, чтобы сразу стало частью этой жизни и не портилось с годами. И нельзя. Оттого лишь, что и самому замыслу такого большого дела невозможно вырваться среди мелких мыслей и маленьких забот» – крутилось и крутилось в моей голове всю дорогу.

Чрево маршрутки поминутно впускало и выпрастывало из себя разноликую пассажирскую массу. Преодолев архитектурную грубость советского моста, дорога разбилась надвое и сразу повеселела, обласканная свежестью зелёного перешейка между старой частью города и дорогим изыском быстро строящегося микрорайона. По обочинам густилась молодая травка, обрызганная жёлтой радостью мать-и-мачехи вперемешку с розовыми пятнами полевого клевера. Мы въехали в ту часть города, которая уже не раз меняла свой облик, безоглядно повинувшись настроению эпохи, её очередному капризу, грозившему перерасти, но так никогда и не перераставшему, во вневременную человеческую ценность.

День необратимо взрослел вместе с движением облаков, прячущих за бугристыми спинами златоустого свидетеля хорошей погоды. Меркли, едва просохшие от молодой клейкости, свежие краски мая, тщетно спасая первозданный колор в дешёвой пастели сумеречных просветов. И стрижи, точно помешанные, беспомощно утопали лезвиями крыльев в многослойном, пропитанном электричеством и влагой, небесном ватине.

Через три остановки маршрутка причалила к бордюру в районе бывшего «Парка авиастроителей». Я соскочил со ступеньки, сделал несколько шагов от дорожного полотна и растеряно уставился в перспективу аллеи, ещё лет пять назад открывавшую вид на фантазмагорический фонтан-ракету, на месте которого памятником современному

зодчеству стояло теперь кафе «Машук». Уже издали было понятно, что несмотря на середину дня публично заведение не обижено: на парковке стояли четыре иномарки и два скоростных велосипеда. По мере приближения к витиевату фасаду «Машука» я начал усиленно перебирать в голове возможные варианты нашего с Ренатой разговора и каждый раз застопоривался на слове «Привет!».

У входа меня встретил человек, обряженный в цветастый костюм мамлюка. Заученным движением он сорвал с головы тюрбан и ловко стукнул древком копыя о каменную площадку. Тотчас оглушительно гроыхнуло, а потом часто забарабанило по всему на свете астрономическим числом больших дождевых капель. Под эту торжественную дробь я и вошёл в, поспешно распахнутую передо мною, дверь кафе.

Смена пространств была воистину театральной. Я точно знал, что там, в оставленном за спиной, ветер не успевает сдувать небесные слёзы с лип и ясеней, что парк зажил радостным влажным движением, которым скоро наполнится весь мир, покорно соглашаясь с необходимостью срочных перемен. А здесь, под тихим мерцанием жёлтых фонарей, в плавной однотонности музыки и паутинах табачного дыма время остановилось у стойки бара. Несколько секунд глаза привыкали к новому декору. Я неспешно двигался меж причудливых трёхногих столиков, окружённых восточными диванчиками на русский манер. Отовсюду доносились щелчки зажигалок и небрежные выдохи первых затяжек. На одном из диванов лежала неопределённого возраста женщина с пышной укладкой ложной блондинки. Положив голову на турецкую подушку и выставив в проход опасные шпильки светло-зелёных сапог, она чрезвычайно медленно выпускала липкие облачка кальянного дыма, игнорируя речевой поток розоволицего кавалера.

Рената нашлась не сразу. Она сидела по другую сторону от барной стойки в пальмовом закутке. Я наткнулся на неё совершенно случайно, уловив боковым зрением примечательный абрис. Она улыбнулась мне приветственно широко и ленинским жестом (одной рукой прихватила складочку футболки у плеча, а другой напряжённо потянулась вперёд) пригласила сесть на свободный стул.

– Привет, – сказал я непринуждённо и бегло окинул её отсутствующим взглядом.

В памяти тотчас воскрес образ того последнего вечера в «Золотом Сердце»: чёрные волосы, отливающие металлическим цветом молодости; глаза, волнуемые посекундными бирюзовыми прибоями; нежно-шоколадные ланиты... Всё чумное, всё специально задуманное ради пугающего – из ряда вон – события. И судя по тому, как переливались серебряные огоньки прядей, как захлёбывалась бирюза, не успев высказаться окончательно, событию этому суждено было случиться довольно скоро.

– Привет! – энергично ответила Рената, неуловимо одёрнув низ оранжевой футболки. – Ну вот, нам уже и несут меню. Люблю оперативных молодых людей, – улыбнулась она пареньку-официанту.

– Рад, что ты мне написала. Ведь так всё быстро тогда... так неожиданно превратилось в плохо приготовленный коктейль.

– Да, но я ужасно спешила. Это бизнес, дурной график и, в общем, ни минуты личного времени.

– Представляю... Впрочем, я совсем о другом хотел спросить. Ты в первый раз заглянула в клуб Коцака?

– Станислава!? Да-да, в первый... И была приятно удивлена.

– Чему? Нашей болтовне на разные голоса, но всегда об одном и том же?

– Нет... то есть Станислава я знаю довольно давно и ...

– Правда?!

– Он работает в компьютерной фирме, я – в салоне сотовой связи. Мы познакомились на одной из смежных вечеринок. А что, есть какие-то проблемы?

– Ну что ты... Теперь совсем хорошо. Примерно так и происходит завязка следующего действия.

Рената многозначно улыбнулась, щёлкнула миниатюрной зажигалкой и направила струйку сизого дыма к заласканному дождём окну. Мы сделали заказ. Время по-прежнему стояло у барной стойки, позволяя посетителям кафе окончательно забыть о его существовании. Никто никуда не торопился.

– Рената, а тебе нравится твоя работа – то дело, которым ты занимаешься каждый божий день?

– Мне?! Наверное...кажется да... Хотя, ты знаешь, мне её отчасти навязали. Папа сказал, что так будет лучше всего. И я смирилась. А сама... сама я после окончания медицинской академии хотела стать воспитателем. Мне искренне хотелось заниматься с детьми, учить их первым слогам жизни, – по лицу Ренаты пробежала небольшая горчинка, – и всё такое... Но теперь это в прошлом, теперь все ... теперь надо жить иначе, ярче как-то и вообще... Мы ведь молодые. Хочется красиво одеться, хочется, в конце концов, соответствовать времени, быть открытее и позитивней. Разве не это главное?

– Быть может. Только вот давно терзает меня нехорошее ощущение. Кажется, что живём мы как-то не так, не по-настоящему. Как будто мы все разом забыли рецепт той правильной жизни и напрасно пытаемся подобрать для него замену, найти его в наших мелких повседневных делах, намечаемых без цели, протекающих без следствия. Ты заметила, что вокруг давно уже не происходит значительных событий. Лишь намёки, лишь жалкие пародии на таковые. И скучно, невыносимо скучно жить и знать, что завтра будет то же самое, что вновь придётся барахтаться в этом болоте, подражая всеобщему процессу гнилостного разложения.

Рената сделала большие глаза и непроизвольно с размаху ткнула сигарету мимо пепельницы в гладкий стол.

– Ты так на это смотришь! Я тоже, конечно, читала и слышала все эти разговоры о бездуховности, о безнравственности нашего времени. Но, по большому счёту, это только слова, выживших из ума стариканов и кучки безнадёжных лузеров, которые живут завистью, – нервно протараторила она.

– Есть и такие, но есть и те, кто не стесняется прямодушия. Ведь некоторые вещи сами бросаются в глаза. Недовольство растёт пропорционально получаемому удовольствию. И, поверь мне, наступит момент, когда отсутствие в обществе духовного стержня будет столь очевидно, что хватит и слабого ветерка для обрушения всей, выстроенной на жажде обладания и моральном лицемерии, конструкции. Понимаешь?!

Рената хотела что-то возразить, но в это время принесли наш заказ и контур её будущей фразы безвольно осыпался в тарелку с греческим салатом. Мы примирительно переглянулись и принялись за еду...

– А у тебя самого есть конкретная цель в этом, как ты выразился, насквозь прогнившем мире? Ты ведь работаешь? – спросила она, задумчиво цедя через трубочку грейпфрутовый сок.

Я глотнул холодного тёмного пива и подумал о том, что не так хотел говорить с ней – не

о том спрашивать, не то отвечать. Как глупо, должно быть, звучали мои выпендренные слова в застывшем сумраке этого заведения, как они были чужды ему. И всё же, если не здесь, то где тогда и с кем?

– Да, я работаю также как и ты на коммерческую утробу, но только потому, чтобы она раньше времени не проглотила меня самого. Я готов держать паузу ради отложенной победы.

– Над кем?

– Над разобщённостью людей и событий моего времени.

– Ты очень странно выражаешься... Я шла на встречу с весёлым парнем, а попала к сердитому философу.

Я опустил губы в тёмный пивной янтарь, понимая, что ожидаемая романтика нашего с ней знакомства стремительно меркнет с каждой последующей фразой, и не мог остановиться.

– Извините, что навязался!

Её губы собрались в складки, а щёки мгновенно окрасились пунцовой гуашью негодования. Она вытряхнула из пачки последнюю сигарету, наспех прикурила её, кинула на плечо симпатичную замшевую сумочку и, не говоря более ни слова, уверенно зацокала к выходу.

Говорливая стайка вечных девиц с дарьянгреевскими лицами, истерзанными омолаживающей пластикой, разом обернулась в мою сторону, выказывая заинтересованное презрение к случившемуся.

«Боже мой, какие, должно быть, страшные портреты хранят они в своих дорогих чуланах» – мгновенно подумал я и залпом прикончил остаток портера.

Дождь кончился. Сквозь матовый слой окна ко мне с трудом прорывалось переливчатое мельтешение солнечного света. В голове носились, задевали друг за друга и сталкивались сотни сомнений. Некоторые из них точно были моими, другие рождались во внешнем, пожалуй даже в уличном, жутко разреженном грозой, воздухе. Я машинально взял со стола пустую сигаретную упаковку – «а вдруг!». Пачка оказалась совершенно пустой и лишь соблазнительно пахла дорогим табаком. Собираясь смять её и бросить в пепельницу, на тыльной стороне за слюдяным чехольчиком я вдруг обнаружил потрёпанную визитку: «Рената Лазарева, и.о. директора фирмы W.; рабочий телефон: ... – ... – ; адрес электронной почты:@inbox.ru». Я сунул глянцевою прямоугольничек бумаги в задний джинсовый карман и попросил счёт, но официант с хитрейшей улыбкой на лице только разводил руками и прятал глаза под козырёк мелированной чёлки.

Махнув рукой на очевидную нелепость положения, я вышел на улицу и бесцельно побрёл вдоль берега нескончаемого автомобильного потока. Ехать домой чертовски не хотелось, не хотелось оставаться один на один с ворохом безумных мыслей и тут (каким-то чудом!) тропинка моих размышлений припетляла к фамилии Зотов. От неожиданности я даже мотнул головой. Ну, конечно же, Зотов, Зот! – радикально левый патриот, желчный спорщик и весельчак, кровь и почва моей безвозвратно ушедшей студенческой молодости. Я быстро отыскал в мобильном его цифры. На мою удачу Зотов не сменил номера, так как через пятнадцать секунд нервного ожидания в динамике послышался его молодцеватый, с природной хрипотцой, голос.

– Андрей Зотов слушает.

– Зот, привет! Это Вадим тебя вспомнил.

– Вадим?! ...Мыфф...а...ах ты, Вадя! Да тебя уже тысячу лет не было слышно. Где летаешь?

– Где нельзя... Зот, можно к тебе прямо сейчас приехать?

– А почему бы и нет, дружище. Мы тут как раз собрались компактным составом, так что ещё одна свободная голова нам не помешает.

– Знаю я твоё «прошу дискутировать». Раньше, если память мне не врёт, это заканчивалось огульным мордобоем.

– Заканчивалось... Я нынче со скинхедами не вожусь. Мы теперь подпольно-интеллигентски существуем. Дьявольская разница, дружище!

– Представляю. Кстати, ты случайно место жительства не сменил в целях, так сказать, вынужденной конспирации?

– А разве я похож на такого человека?

– Тогда жди.

– Непременно...

Я поймал такси и чётко отрапортовал водителю (пожилому десантнику с татуировкой на трёхглавой мышце) адрес: улица Карла Либкнехта, 44.

Глядя в лобовое стекло старенькой «Волги», я думал обо всём сразу. Разум пытался объять сколь можно больше явлений, людей, событий, фраз... Он, как усердный и внимательный следователь, старался запомнить каждую, пусть даже самую ничтожную деталь из многих, посланных ему по каналам чувств. Он брал новую заготовку в свои умелые чуткие руки, смывал грязь, подспудно обдавая теплом творческой заинтересованности, и уверенными провидческого размаха движениями избавлял материал от всего лишнего, от всего пошлого и грубого, навязанного миром стереотипных заблуждений. Потом он некоторое время любовался новым творением, закаливал его совсем ещё мягкие грани на огне вечности и счастливый от ясного понимания содеянного отправлял в надёжный архив памяти. И однажды, в самый неожиданный миг бытия, когда его хозяин мучился очередным неразрешимым сюжетом, разум вовремя доставал из кладовой ту единственную, казалось бы давно утерянную, подсказку: гроза проходила стороной, сомнения отступали.

Мы застыли на светофоре, а разум, категорически отказываясь пережёвывать насущное, диктовал мне примерно следующее: «Подозрительно отношусь к завершённой человеческой красоте. В её идеальности мне видится безнадёжность. Вдохновляет же меня красота иного рода – пикантно испорченная природным дефектом. Есть особая напряжённая гармония между высоким лбом и едва очерченным подбородком, между непостижимо бирюзовой глубиной глаз и надломленной линией носа, между утлыми бёдрами и, налитой кипучим вином, грудью...»

«Летящей походкой ты вышла из мая» – неожиданно раздалось в салоне такси. Это престарелый десантник, видимо устав от моей тишины, включил магнитола. Дальше ехали под музыку, обгоняя зелень с буквой «У» и вынужденно уступая дорогу здоровенным джипам с пуленепробиваемыми физиономиями. Мне так по душе были эти песенки из прошлого, так хорошо дышалось у чуть приоткрытого окна цветущей полнотой мая, что когда после резкого поворота автомобиль замер, и водитель медленно протянул «приехали, парень», я сразу скис и разочарованно вздохнул. Таксист по-своему истолковал моё состояние:

– Да, брат, не радостные тут места. Днём ещё туда-сюда, а уж вечером... Ну, бывай! –

кивнул он мне, пыхнул сигаретой и укатил по своим нескончаемым развозным делам.

Район (точнее – генетическая родина Андрея Зотова) и в самом деле мало радовал глаз. Задуманный историей как фабрично-заводское предместье, в советское время он стал главным промышленным центром города, который давно пережил и свой расцвет, и краткую стабильность, и клиническую смерть конца эпохи. Что представлял он собой теперь? Нечто пришибленное и гнилое, хранимое озлобленной памятью в тревожной тишине текущего дня. Его население по инерции тянуло потную лямку круговой поруки, изрыгая в недолгих перерывах матерные упрёки на голову всегда виноватого государства. Единственным утешением этих отчаянных людей была дешёвая водка, семейные разборки у экрана телевизора да кулачный бой на крыльце местного дома культуры, работающего не по графику, но по одной лишь прихоти его бессменной директрисы.

Зотов обитал в небольшой, покоящейся на кирпичных тумбах, избе, которую украшали красные облупленные наличники. Вместе с ним в доме бытовали отец и мать – работники местной текстильной фабрики «Красный путь». Зотов родился умным. Бабушка (преподаватель русского и литературы в отставке) поспособствовала качественному расширению его актуально-уличного сознания. Уже подростком Зотов размышлял о самом тяжёлом и больном. Он тонко чувствовал фальшь и подлость в отношениях его родимой периферии с центром города, где роились большие деньги и жили совершенно другие люди – хозяева жизни, ловкие приспособленцы, ненасытные рвачи... Андрея тянуло высказаться, он просто благоговел перед лобовым публичным словом. Счастливой чертой его, от природы взбалмошного, характера являлось умение разговаривать с простым народом на доступном наречии, не опускаясь при этом до инвектив и жаргонных упрощений. В университет Зотов поступал дважды... И поступил на факультет политологии и права, умудрившись занять единственное бюджетное место. Восьмидесятилетняя бабушка Андрея так обрадовалась успеху талантливой кровинушки, что тут же слегла и через три месяца благополучно перешла в мир иной, посчитав свою воспитательную миссию вполне завершённой.

Два года Зотов учился ровно и пар не пропускал, более того – инициировал открытие межфакультетской стенгазеты под названием «Наше дело правое», чем вышиб слезу одобрения у кафедральной геронтократии. Ему открылся доступ к широким студенческим массам; довольно быстро нашлись и единомышленники – наивные, опьянённые молодостью и либерализмом. С начала третьего курса Зотов резко полевел. Нацепив значок анархиста, он пропускал занятия и тайком, во время напряжённого лекционного процесса, расклеивал пасквилы на стенах курилок и туалетов. За этим антиобщественным занятием я и застал его однажды, случайно забежав в клозет на этаже политологов. Он смутился, но не стусевался, пожал мою руку, а затем представился Андреем Зотовым – гуманитарием по рождению и леворадикалом по призванию. А я скоро признал, что передо мной личность с твёрдыми убеждениями. Мы проговорили целую пару, выкурив пачку сигарет. Его миропонимание не совпадало с моим практически ни в одном положении, но его эрудиция, манера высказывания и сыплющий искрами взгляд подкупили бы любого, даже большего чем я, политического скептика. Он прочитал несколько стихотворений, таких новых и таких непохожих на него, что мне пришлось поверить в исключительную даровитость этого молодого шатена с чёрной лентой на растрёпанных волосах. Когда просипел звонок, он вручил мне пару агиток, на одной из которых оставил номер домашнего телефона, я продиктовал ему свой и мы простились.

Долго не решался я позвонить ему. Но, неожиданно, он проявился сам и предложил мне

посетить тайную сходку «Ассоциации Радикальных Инициатив» («АРИ»). Сходка проходила у него дома – сразу после ухода родителей на смену. О её течении и последствиях можно говорить целую страницу (чего от меня никто не дожждётся). Зотову она долго помнилась по глубоким отметинам вдоль спины: отец бил Андрея куском ремённого привода.

Сходки «ариев» после этого случая не прекратились, но проходили теперь в помещении старого заводского сарая, где было установлено что-то вроде трибуны. В то время всё это выглядело очень авангардно и свежо. Однако погода быстро изменилась. Подул новый ветер. Зотов почуял его силу в отделении милиции, куда был доставлен с очередного несанкционированного митинга. Ему объяснили, что в государстве, наконец-то, наступила полная и безоговорочная демократия, что надо соответствовать, что больше нельзя вести себя так по-варварски и, вообще, много чего теперь нельзя. Разом поумневший Зотов, к большому неудовольствию единомышленников, распустил «АРИ», а сам умчался на целый месяц в Петербург. Там он пил, шлялся по изменившемуся Невскому и встречал со своей давней знакомой холодные октябрьские рассветы возле медного всадника, повторяя, разгорячёнными от поцелуев и вина губами, заветные строки из Мандельштама и Блока.

Я по привычке стукнул с улицы в окно прихожей. Послышались уверенные шаги и лязг, вылетевшего из петли дверного крючка. Дверь широко растянула пружину-возвратник и в тёмном проёме на предпоследней ступеньке лестницы образовалась плотная фигура Зота. Он был одет в тельняшку навыпуск и джинсы-клёш с двумя махрящимися порезами на левой штанине; голову покрывал чёрный берет с приколотой октябратской звёздочкой. Зот улыбнулся, обнажив дырку на месте выбитого резца.

– Рады, рады... заходи, – густо пробасил он в мою сторону. Мы пожали друг другу руки и обнялись.

Солнце понемногу завершало извечный дневной обход и уже прощалось с землёй багряными репликами перегулявших зрелость лучей. Вдалеке, поверх низеньких избёнок и бараков, нагло смолила заводская труба. Ветер выхватывал из дымной громады небольшие сажистые облачка, но быстро давал им волю и они становились прозрачностью неба.

Через небольшой коридор мы прошли в жилую часть дома. Потёртые глубокие кресла за овальным столом, служившим хозяевам обеденным, занимали две, безусловно примечательные личности. Мужчину я приписал к тридцатилетним. Он состоял из бородки, очков, желтоватого лица и сальной косички волос на затылке. Рыжеволосая женщина была помладше. Тонкую шею её опоясывал ремешок фотокамеры. Она мгновенно узнала меня, но виду не подала, опустив большие выразительные глаза.

– Представляю вам давно знакомого мне Вадима... Значит, Вадя, это у нас Антон Чернецкий (бородатенький немного приподнялся в кресле и сделал поклон), а эту барышню зовут Дианой (женщина приветствовала меня опусканием век).

Я подсел к столу, на котором уже стояла конфетница и четыре одинаковые, наполненные свежесваренным чаем, чашки.

– С тобой, Вадим, мы ещё посплетничаем как следует наедине. Теперь же вернёмся к оставленной теме. Ты, Антон, начал говорить о ... России.

– Да, – тут же отозвался Чернецкий, моментально закинув ногу на ногу, – я говорил о России как о стране с перманентным, исторически обусловленным, кризисным сознанием...

Он говорил довольно долго. Говорил, вдохновляясь самими словами и своей манерой подачи, которая походила на кушеточный бред занудного самоучки. Он щедро сорил фактами, он красовался, нисколько не заботясь о логике и правдоподобию. Наступил

момент, когда я более не мог ловить скользкую суть его кризисного монолога. Диана морщила губки, время от времени бросая взгляд на фотокамеру. В мою сторону она не глядела принципиально, словно боялась встретиться с нашим общим прошлым, таким очевидным здесь – в бревенчатом ковчеге на самом краю земли. Наконец Зот прервал бескрайний монолог Чернецкого глубоким кивком своей сообразительной головы.

– Отлично! Отлично, Антон. Просто супер как сказал. Мне бы так. А, впрочем, я бы иначе выстроил...

– Зот, я пойду зафиксирую окрестности, пока не стемнело? – неожиданно спросила Диана, поглаживая пальцем фирменный ремешок.

– Диана, опять ты сбегаешь куда-то, опять придумываешь. Я знаю, что ты человек актуального действия, но пойми и нас. Ты думаешь вокруг спокойствие, стабильность, приметы будущего благополучия? Конечно, довольно легко убедить себя, уверить... А тем временем жизнь, настоящее её существо, наполненное идеей и смыслом, проходит стороной. Беги, Дианочка! Фотографируй синие сумерки рабочего квартала. Сейчас в моде трещины и руины. Их выдают за современное искусство, боясь признать, что это искусство одного выставочного дня.

Диана посмотрела на Зотова с удивлённым непониманием, добела сжала губы и затем стремительно выбежала из прихожей. Хлопнула дверь коридора, потом крыльца, потом всё стихло. Не спрашивая разрешения, я встал из-за стола и вышел на улицу. Силуэт Дианы споро исчезал в глубине кособокой улочки. Мне пришлось совершить небольшую пробежку, чтобы поравняться с ней. Она нисколько не удивилась неожиданному соседству, мельком глянула на меня и сквозь подступающие слёзы пролепетала:

– Зота в армию собираются забрать, вот он и бесится без всякой меры... Дурак.

Шли молча. Теперь, когда Диана была совсем рядом, думалось только о ней...

Она пришла ко мне такая беззащитная и хлипкая, такая ничья, смешно поправляя клетчатый шарф под несуразной шубой на металлопластиковых пуговицах. Она читала стихи и откровенно флиртвала со мной: несколько раз я отводил её пальчик с моих обветренных губ... Я тоже флиртовал...

– Диана, вам нужно срочно поменять имидж, – холодно твердил я.

– Меня ничто не может устроить. Меня и Вы устраиваете с большим трудом, но Вы поэт и любовник, а я привыкла прощать негодяев, – тихо пела она на моей безволосой груди.

Я знал её только неделю и за это время от неё поступали предложения сыграть Жуана, Раскольникову, Мастера... На мгновение я воображал что смогу и многое обещал ей. Диана, кажется, верила мне. Мы оба наслаждались этой игрой, но я уже подло готовил её развязку. Однажды я второпях начирикал фломастером заглавие нашей будущей постановки: «Плач Берлиоза». Она была счастлива и не спрашивала о подробностях. Через месяц, поживая на прежних лаврах, я решился избавиться от моей студенческой музыки.

– Неужели ты всё ещё грезишь театром? Диана, мы там никому не нужны.

– Почему???

– Посмотри без иллюзий... Благородная мхатовская пыль давно уже стёрта со сцены грязной тряпкой новой драмы.

– Но мы и есть новая драма.

– Меньшей глупости я от тебя и не ждал.

Диана плакала. Её сестра лежала в больнице. Мир колыхался и с треском падали придуманные опоры, а наш театральный роман вплотную приблизился к занавесу. Вскоре

Диану отчислили и я поспешил забыть о её присутствии в этом изменчивом мире.

– Здравствуй, Диана.

Она быстро пробежала по мне глазами (от коленей до кончиков ресниц) и ничего не ответила. Улочка завернула направо, потом налево, дважды сменила название и прибавила в ширине. По ней, то теряясь в подшёрстке из спорыша и полевой ромашки, то поблёскивая на гравийных плешинах, длились трамвайные рельсы, втайне мечтавшие стать железнодорожными. В крапивной куртинке у одного из тёмных, медленно съезжающих набок, заборов осатанело надувала синий зуб варакушка. Мы практически одновременно повернули головы в сторону этого упоительного майского гимна. Диана остановилась, скинула ремешок фотокамеры и тщательно выцелила нарядное естество придорожного певуна. Её тело на мгновение обрело грациозную напряжённость, подалось вперёд. Кофточка, и без того коротенькая, приподнялась, обнажив показательную худобу талии с обворожительными ложбинками чуть выше крестца. Я перевёл взгляд на трамвайные пути, пытаюсь тем самым показать совершенную свою незаинтересованность. За время моего равнодушного смотрения на горизонт, Диана запечатлела несколько мгновений жизни и легонько тронула мой рукав. Наши глаза встретились... Это случилось в широком коридоре, образованном бетонной стеной заводской ограды и ветхой изгородью поселян, внутри трамвайного кольца. Поцелуй был стремительным и почти невероятным.

– Только не сейчас ... не надо портить ... не надо комментировать ... в письме ... причём я сама тебе напишу... возьму твои координаты у Зота и ... и не провожай ... тут несколько жалких шагов ... вот уже громыкает ... до ... – последние слова её задыхающейся речи погрёб скрежет, разболтанного временем и дорогой, красно-белого трамвая.

Застыв на месте, словно прикованный к последнему немому обещанием, я проводил её взглядом до жёлтого короба остановки. Проводил рыжие волокна облачной причёски, проводил глаза, сказавшие меньше чем хотелось, проводил губы, проводил сомненья прошлого, думая о предстоящем. Незримый шествовал рядом и старчески жужжал в молоденькое ушко: напиши мне, напиши скорее, напиши... Трамвай забрал Диану и пошёл на дугу. Она села у окна, обращённого внутрь эллипса, желая ещё какое-то время быть видимой мне. Однако проплыв совсем близко, наградила обожателя лишь экзальтированным профилем и прощальным движением пальчиков. Жест этот сначала обидел меня, но потом ещё больше раздражил воображение, так что к Зоту я возвращался в счастливом душевном смятении.

На окрестности нехотя опускались сумерки. Они казались обыкновенной тёмной краской, которую второпях подмешали к лазоревому составу неба. Чёткие контуры первой звезды предрекали ясную ночь. Давно не мытые, в глинистых обтёках окна избы, пронизанные светом, глядели на улицу лубочными витражами. Я тихо поднялся на крыльцо и увидел сквозь распахнутую коридорную дверь жёлтую полосу электричества. Из прихожей доносились пьяненькие голоса Зотова и Чернецкого.

– А что на разворот будем ставить? – деловито гудел бас Зотова.

– Тут броженьице, Андрюша. Поэт Ступин хочет втесаться со своей новой поэмой «Заря вандализма». Ты его патетику знаешь. После него коричневая статья Закрайского покажется сочинением школьника из антропософской семьи. Поэтому предлагаю...

– Будем ставить обоих. Этот номер должен разойтись не только среди студентов. Я в обход родаков свяжусь с нашими рабочими. На ламповом полугодовой простой и

безденежье. Трудмасса его словно порох – только искру обронить, а там... Митинг в центре города – не меньше.

– Смело, но не надёжно. Давно мы, Андрюша, с рабочими не контактировали. Ведь его, рабочего нынешнего, от дивана тягачом не оторвёшь. Какие ему митинги, какие газеты! Его последовательно превращают в равнодушного прагматиста, в бездумного накопителя благ, зомбированного шоу-сериальной бредятиной. Неужели ты думаешь иначе?!

В повисшей вечерней тишине чиркнула спичка. Родился и тут же стих звук похожий на треск рвущейся бумаги; скрипнули половицы. Прихожая кашлянула и выпустила в дверную щель запах крепкого табачного дыма. Я непроизвольно затаил дыхание, интуитивно осознав важность длящейся паузы.

– Тогда, после первого нашего обрушения, я только и делал что пил и думал, думал и пил от какой-то внутренней неспособности смириться с историей, с естественным ходом её процессов не нами, по большому счёту, придуманным. Измождённый скитаниями и пьянством, я всё же не пропал совсем, уцепившись за жизнь мыслью о кардинальной перестройке самого себя. Необходимость скорейших изменений охватила меня с титанической силой и я принялся неистово топтать, рвать, перешевеливать старое в надежде очистить не только злободневные мысли, но и саму память, тянущую, как мне казалось, назад – в несбывшееся. Я устранил из наших рядов невежество, грубую силу, маниакальный фанатизм; ушёл в подполье, заручившись поддержкой думающей молодёжи и остатка ропщущей интеллигенции. Я сменил редакцию газеты, прекратил пьяные сборища и решил, что начав писать новую главу нашей биографии, не буду пользоваться старыми черновиками, каждое слово которых дышало ложью и заблуждением. Но, предсказывая нам сдвиги, я накликал застой. Дело всей моей жизни в реактивные сроки превратилось в игру, в модное увлечение, выродилось до жалкой политической интрижки. Я гляжу вокруг себя и вижу лишь вихлявых маменькиных сыночков под руку с заносчивыми папиными дочурками. Все они говорят, говорят много и красиво, – слышался плеск жидкости и частые густые глотки, – говорят умно, но ничего не делают дальше слов, дальше пустой зауми, часто переходящей у них в откровенный интеллектуальный выпендрёж. Я тоже много читал и даже что-то писал, но при этом всегда стремился жить практически: помогал родителям на фабрике и даче, устраивал акции, работал – в то время когда поэты Ступины декламировали свои бездарные стихи волооким институткам, а обличители режима Закрайские не жились под солнцем другого полушария, устав, как они выразились, от перманентной борьбы за мировую справедливость. Сказать по совести – они никогда не болели тем, о чём писали. Их оружие – форма, их цель – публичный успех. Прочее их мало тревожит. Вот и ты, смотрю, хочешь закрыться от реальности газетным листом.

– Андрей, ты ведь не услышал меня... – стал оправдываться Чернецкий.

В этот момент я сильно хлопнул дверью крыльца и нарочито шумно затопал по тёмному коридору. Голоса стихли окончательно, когда я переступил порог прихожей.

– Вадим, а я думал ты... Ну как, проводил девочку?

– Проводил... И мне кажется, что она не сильно на тебя рассердилась. Впрочем, это ваша история и я не знаю её традиций.

– Традиции?! О, мы ещё не успели обзавестись такой роскошью. Я знаю Диану не более двух месяцев. Нас познакомил Станислав Коцак.

«И тут Коцак!» - уколom отозвалось где-то в затылке, но спросил я Зота совсем о другом.

- А чем занимается твоя строптивая знакомая?
- Заканчивает театральный институт и грезит Москвой.
- Как предсказуемо... И что, она хорошая актриса?
- Она заставляет верить...

На вздутой клеёнке стола существовало одновременно множество неоднокоренных вещей. Бутылку портвейна, стоящую ближе к центру, утверждала в правах пепельница из оргстекла, занятая семью скрюченными (похожими на белые личинки) окурками; чуть поодаль валялись полупустая сигаретная пачка, ломоть ржаного, точно оторванный от большой хлебной скалы, огрызок луковицы, четыре шоколадные конфеты со впалыми боками и листы (куча листов!), усыпанные пеплом, загнутые на уголках, отмеченные по всей площади грифельной скорописью. «Не знаю как Диана, но если бы я решил запечатлеть сей паноптикум, то без колебаний назвал бы его «Модель русской вселенной»» – случайно подумалось мне.

– Правда, без идеи, без направления ... – протяжно, с некоторой долей красоты, пропел Зот, словно угадал мой мысленный настрой.

– А что так? – выпалил я от неожиданности.

– Почвы нет, понимаете ... Почвы! Настолько всё размыто, настолько децентрировано, что и копнуть негде. Та же история в школах – это ведь шизофрения какая-то. Доходит до того, что в одном классе по разным учебникам занимаются. А мы потом ведём речь о взаимопонимании, об осознанном жизнетворчестве ... Система образования – вот настоящий инкубатор русского абсурда.

– Так вы монархию предлагаете? – подкинул я дровишек в огонь.

– Да. Но только просвещённую, чтобы основные демократические права и свободы были непременно сохранены. Непременно! Тем и спасёмся, – подытожил Чернецкий и смешно провалился в кресло, едва не выронив из пальцев, скуренную до половины сигарету.

– В таком случае вам нужно срочно озаботиться поиском монарха. А народ ... Народ русский, в отличие от европейского, не из камня высечен, а сляпан из глины. Менять форму – генетически любимое им занятие.

– Ну хватит, хватит, – своевременно вмешался Зот, – мысли ваши мне предельно ясны и потому огорчительны. Монархия – это прибежище слабых – тех, кто боится ответственности. Впрочем, главная беда народа нашего в том, что получив предельную свободу, он быстро ей наедается и, по прошествии самого малого времени, смотрит на эту свободу волком. Вот этот-то звериный комплекс нам нужно выкорчёвывать, выжигать, а не бредить о разных там централизациях и реставрациях. Неужели вы забыли, к чему приводят подобные компромиссы с властью?!

Чернецкий тут же съёжился и примолк, линзы его круглых очёчков покрылись матовой испариной, и он по-мышьиному принялся тереть их с внешней стороны большими пальцами обеих рук. Зот, глядя на его подслеповатые манипуляции, расхохотался как ребёнок и стал тормозить меня за плечо. Я изобразил на лице нечто напоминающее ухмылку снисхождения, но подумал о своём и некстати спросил Зота:

– Андрей ... скажи, а есть ли у Дианы, ну ...

– Сердечный друг?

– Да.

– Кто знает. Ко мне никого не приводила, да и не говорила об этом никогда. Она ведь такая ...

- Какая?
- Многая.
- Многая?

– Диана из тех женщин, которые не станут подчиняться воле мужчины, будь он хоть командиром дивизии. Она большая фантазёрка и путешественница. С утра она может открывать фотовыставку в «Центре актуального искусства», днём участвовать в крестном ходе, а вечером нестись на автомобиле в столичный аэропорт на рейс Москва – к примеру – Рим. Это её нормальный бытийный ритм.

« И всё таки люди меняются, то есть способны меняться под воздействием сильной внутренней потребности, родственной им с рождения, но до поры дремлющей в бездонной колыбели подсознания. И не стоит заблуждаться по поводу импульсов извне, провоцирующих образование того или иного свойства. Если природа дала миру пустоцвет, то никакие потрясения, никакие земные мытарства не заставят его плодоносить. Пустота примется копить опыт, наполнятся привычным, сто раз освоенным, материалом, так и не испытав за всю жизнь счастья личного открытия» – вот такая мысль неожиданно озарила меня изнутри после реплики Зота.

За окнами плавали лиловые сгустки позднего вечера. Электрический свет, рассеянный старым пожелтевшим абажуром, коричневые складочки на тусклых обоях, пепельная паутина в углу и старинный шкаф ручной сборки с кустиками тонких трещинок на дверных филёнках, отмечали пределы отошедшего века. И гикающая пьянь, с быстротою сумерек заполнявшая унылые окрестности, брела за его тенью на всё готовой похоронной процессией.

Зот принёс ещё две бутылки дешёвого портвейна и большую немного закуски.

– Оставайся у меня, Вадим. Родаки на дачу укатили. Так что ... Сейчас я тебе всё оформлю.

– Я останусь. Возможно, это спасёт меня.

– Побудешь с нами?

– Я с вами ...

Зот кивком предложил мне пройти в большую комнату. Перешагнув крашенный порожек, он резко завернул налево к занавеске, болтавшейся на металлической перекладине между стеной и печным боком.

– Das ist моя каморка. Все эти книги в твоём распоряжении ... Да... Стол письменный совсем недавно переделал из старого бабушкиного. Свет вот так включается ... Что ещё? Кровать ты видишь ...

– А сам где устроишься?

– Это уже не проблема. Чуланчик у меня есть – летняя, типа, резиденция. Ночь тёплая сегодня будет, да и трезвеет на воздухе лучше. Ладно. Давай. Утром свидимся. А нам ещё с Антоном над газетой погорбатиться надо ...

– И над стаканом.

– Не без того. Сейчас ... Как там у моего знакомого поэта ... «Ничего не осталось от жизни, затуманились мысли мои ... Мне в стакан чего-нибудь брызни и опять запоют соловьи...»

Когда Зот скрылся за тканью занавеси, я осмотрелся по-настоящему. Обои в его закутке были те же, что и по всему дому, только здесь к ним прилипло несколько интересных

картинок. Над письменным столом висели три чёрно-белых портрета: молодой Фидель с сигарой, Высоцкий в платье Гамлета и коротко подстриженный А. Блок. Справа от стола к стене на двух кнопках был пришпилен постер с изображением нагой негритянки. Одна часть её прелестей красовалась на фоне тропического разнообразия, а всё, что находилось выше пояса, зависло над панорамой современного мегаполиса.

Я на несколько секунд погасил электричество. Дрожащий луч Селены выхватил из темноты полку и несколько корешков книг, по которым провёл я пальцем, задержавшись на гладком. Взял не глядя. Раскрыл. Вплотную приблизил к мембране окна и прочёл на плывущей странице следующий по содержанию фрагмент: « Именно в эту пору Каупервуд впервые ощутил, как далека от него Эйлин и по уму и по складу характера. Эмоционально, физически они были близки друг другу, но Каупервуд жил своей, обособленной от Эйлин жизнью, и большой круг его интересов был недоступен ей».

Едва глаза прервали подслеповатое чтение, как тут же в призрачность майской ночи беспардонно ворвался сигнал о новом sms. Я нервно открыл его ... « Ne zlis` na menia. Ja bi хотела po drugomu ... No kak? I kto iz nas prav? Menia tianet k tebe. Sil`no! A tebia? Pozvoni. OK?».

Не знаю, что случилось со мной в этот момент. Какой демон поселился в моей голове. Но я почувствовал, точнее – болезненно ощутил потребность высказаться обо всём до конца. Я вспомнил, что раньше в университете писал стихи, много стихов ... А потом задавила работа, суета жизни ... Я думал о Ренате и о Диане. Думал, как о двух противоположных сторонах чего-то одного над всеми нами довлеющего и трудно взрослеющего вместе с нами. Перед глазами проплыл Коцак со своим фотогаремом. Стало немного зябко. Я включил свет, порылся в столе у Зотова и, найдя в одном из ящичков чистые листы, сел писать письмо. Письмо в стихах для Ренаты Лазаревой...

Майская ночь неумолима. Часы её скоротечны. Под частые вздрагивания и замирания вольфрамовой спирали, добывая вдохновение из тиканья старых часов, а краску из фиолетовой глубины лунной ночи, я выводил строку за строкой, образ за образом, чувство за чувством. Где-то далеко, точно в рудниковой глубине, тёк разговор между Андреем и Антоном. Иногда я прислушивался к нему в надежде, что там, в бесконечности хмельного диалога, сокрыта гениальная поэтическая подсказка – последнее откровение, без которого всё запечатлённое ранее теряет вес и смысл.

Писалось очень легко. Как будто и не было длительного молчания строки, как будто придумывал не я, но кто-то свыше диктовал слово: тонко подмечал движения души, возводя их к рифме.

Фары такси вспыхнули за окном в тот момент, когда я рассеяно искал последние слова. Спрашивал подсказки и у Блока, и у Высоцкого. Увы, портреты молчали, а в прихожей поднялся шум пьяного прощания. Хлопнула дверь прихожей, потом – чуть глуше – крыльца, затем хряпнула дверца автомобиля. Свет фар лизнул оконные стёкла. Письмо не желало кончаться и в этом таилось что-то зловещее.

– Вадим, ты ещё не спишь?

– Пишу.

Зотов откинул занавес и петляющей походкой добрёл до своей кровати. Я повернул к нему голову, сцепив пальцы рук на решетчатой спинке стула.

– Мне кажется, Вадим, что этот номер «Левого дела» будет последним.

– Почему так?

– Прожив двадцать семь лет на этой земле Андреем Зотовым, я всё больше верю в силу

догадки. Меня ведут намёки и знамения. Давно... Видимо, с того момента как я убежал из дома плакать на речную дамбу. Непонятый и оскорблённый я елозил ногами по бетонным плитам, провожал мокрым взглядом орущих чаек и щурился от солнца, которое теперь, после долгой зимы, было настоящим ... Я начал говорить. Говорить с самим собой вслух. Я высказывал себя чайной мути реки, церкви на противоположном берегу, железнодорожному мосту, весне ... Мир слушал, утопая в заботах ... И всё же слушал – я помню, я почувствовал. Это был сговор, Вадим. Настоящий сговор с миром, который числился средой обитания, а стал мудрым проводником по извилинам моей судьбы ... Но с недавних пор я поражён. Рана моя кровоточит. И Бог знает, сколько крови уже вытекло из неё...

Я поднял глаза к потолку и увидел массивное стальное кольцо, вбитое скобой в белую, с округлыми гранями, матицу.

– Знаешь, Андрей, меня тут посетила мысль о нашей истории. Вернее, о том как посмотрят на неё из грядущего. Может банальность, но всё же ... Представь себе воду, замороженную мгновенно и при очень низкой температуре. Молекулы и частицы взвеси не успели толком почувствовать перехода из жидкого состояния в твёрдое, но дороги назад нет – опыт приобретён, эпоха завершилась. И вот пылливый потомок берёт пробу этой нашей эпохи, смотрит на неё с разных сторон, сквозь точнейшие приборы ... Что видит он? Видит внушительную плотность событий, многообразие красок, какие-то дерзания и мечты... Да ... Только закрадывается в его голову сомнение – а не фантом ли всё это, не ложное ли это очарование днём ушедшим, старательно окутавшим себя сиреневой дымкой благополучия? Подумает так потомок, присмотрится получше к структуре льда и с ужасом отпрянет, прозрев наше настоящее, испещрённое трещинами, пронизанное раковинами, наполненное уродливо застывшими ликами ...

– Быть может ... И всё таки наше время назовут классическим хотя бы потому, что в нём имели место и такие вот, как наш с тобой, разговоры. История – как я прочитал у ... неважно кого – повторяется, только выглядит поскромнее, – без особого энтузиазма парировал Зот.

– Что с тобой, Андрей? Ты ведь всегда жил без черновика, на один раз. Как я завидовал твоему упрямству! Помнишь момент, когда страна, едва нащупав новую точку опоры, стала припадочно отрешиваться от своего прошлого. Ты же смеялся над этой всеобщей истерикой и без смущения бросал в лицо первому встречному либералу: вернётесь, наиграетесь и вернётесь. Вспомни, как прекрасно умел ты жить мимо времени, руководствуясь иным, быть может самым правильным, циферблатом. Что же сломалось теперь?

– Люди, люди ... дело в них. Они сделались равнодушными и глупыми. Живут одним, не днём даже, часом ... Их, кажется, всё устраивает ...

– Зот, остановись! Ты отлично знаешь, что дело не в людях, а в твоих надеждах с ними связанных.

– Нет, сейчас я знаю, что дело именно в людях. Не будет никаких значительных перемен, никакого исхода ... И ты прав – наше время опишут уродцем, тупеющим от сытости пленником супермаркета.

– Но руки опускать стыдно. Пусть нет надежды доставить камень к вершине, однако есть возможность переживать, думать, копить опыт, писать для будущего ...

– Мой стол распух от посланий к потомкам.

– Тем лучше, Зот ... Андрей Матвейч, а может вам влюбится в какую-нибудь остроглазую смуглянку лет двадцати от роду?! Женщины, я слышал, привязывают к жизни крепче любой идеи.

– Ха... И привести её в этот вертеп у чёрта на куличках, заселённый употребляющим отцом и мнительной мамашей ... А ещё ей придётся терпеть наши регулярные собрания и кровать-полуторку с рваным матрацем.

– Что за тухлятина, Андрей. Важно решиться, то есть влюбиться и стать любимым. Ты уже не мальчик и знаешь, как важно вовремя перевернуть наскучившую страницу.

– Знаю? Наверно, знал раньше... Глупость... Здесь не умом надо. Ты лучше о себе, о своих страницах расскажи, – немного оживился Зот.

– И легко расскажу. Мало сплю, общаюсь с сомнительными личностями, задаю кучу вопросов, иногда выпиваю ... Ах, да – работаю с умеренным пылом в одной фирмочке.

– А как с ней?

– С кем?

– С любовью, Вадим. С любовью!

– Утром я был с ней на «ты», днём – подчёркнуто холоден, а сейчас я окончательно для неё потерян, – с показной весёлостью отрапортовал я Зоту, вспомнив о неоконченном письме.

– И это слова утешителя.

Я молчал. Скривив, словно от боли, губы Зот поднялся с кровати и неуклюже потопал к занавеси. Взяв материю за краешек, он произнёс:

– Если случится вдруг что-то ... Ну ты понимаешь, Вадим ... Если что произойдёт ... Вы – ты и Диана – должны войти сюда сразу после отца с матерью. Все мои бумаги должны попасть к вам. Все до единой. Будет обыск. Я знаю. Но вы должны первыми ... Слышишь?

– Перестань, Андрей. Из армии, как правило, возвращаются. Придёшь и ты.

– Из армии, но не с войны ...

Занавесь колыхнулась, и Зотов вышел из комнатки. Несколько секунд я следил за колебаниями фабричного узора. Потом вернулся к письму. Перечитал его ещё раз, но так и не смог придумать внятного финала. Решил оставить как есть. Прилёг.

Лишь только я закрыл глаза, как тело охватил нешуточный озноб. Сердце забилося в груди тревожно и путано. Утром Зотов нашёл меня окончательно больным. Он вызвал такси, пожелав мне на прощанье скорейшего выздоровления, и как-то значительно поцеловал в щёку. Я промямлил водителю адрес, и мы поплыли по дымчатой лёгкости майского утра в северо-восточную часть города.

Лиза

За автомобильными стёклами разгуливался солнечный праздник. Всё живое, счастливо отдыхающее посреди тягот рабочей недели, за руку было выведено на улицу, провожено до набережных и парков, доставлено к просторам площадей. Жизнь повторяла общие черты в недоступный для подсчёта раз, но вся – от кончиков молодой травы до крика мокрого чада из форточки роддома – расцветала наивом и дышала новостью ...

Дома, прежде чем скинуть с себя одежду и умыться, я на пластилиновых ногах добрался до компьютера – проверил почту. Ящик за время моего отсутствия в городе раздуло от бесчисленных безответных писем. Постепенно теряя связь с реальностью, я удерживался от падения с вертялого кресла только потому, что должен был отправить Лазаревой поэтический полубред, пришедший в голову одному молодому человеку от бессонницы при полной луне.

Письмо к R. L.

Первые мысли:

В ожидании весны томился гардероб,
И сердце кляло зиму ...
Но снег пропал и кельи дверца
Открылась настезь, в кутерьму.
Ах, вечное весны непостоянство – хуже пьянства!
«Прочь старое – лови губами пехт.
Твой прежний износился. Брось жеманство.
Ждут новые и самый свежий sex» –
Нашёптывает вешний политес.
О, ты не девушка. Ты – фройляйн Современность:
Следы солярия, тату и позитив.
В глазах l'amour, в улыбочке надменность
На радость мальчикам, на зависть прочих див.
Тахі. Ты в нём. Без прошлого, конечно.
(Гуляй, экс-мачо. Кто там впереди?)
Летишь, летишь по узенькой Аптечной,
Устав ругать шофёра по пути ...
Вот и Safe, где публика отменна.
Твой взгляд по лейблам мигом пробежал:
«My God[3]! Ну что это за пафос откровенный!
Gabbana! Gucci! Tiffany! Аврал!»
Тебя не слышат. Им важнее Эго.
Но всё же быстро оценили твой «прикид».
Здесь царствует Перформанс с мощью mega,
Здесь каждый изнутри давно убит.

Вторые мысли:

Ты видишь столик. Он, как раз, свободен.
Заказываешь свой любимый сок.
Садисься, ждёшь ... Перформанс хороводит
И скучно так – хоть прострели висок.
Вот мальчик, девочка, оно – кому понятно?! –
Курит лёгкий Vogue;
Другой хлебает колу отрешённо.
Ты новенького ждёшь, но всюду смог
И, в общем, чувствуешь себя опустошённо.
Внутри тебя пугающая даль
Тусовок с «травкой», стрессов, одиночеств;
Старенья страх и буквенная шваль
Из стильных книг писателей без отчеств.

Проходят юноши – глядят, проходят девушки – глядят ...

Зачем?

Чтоб ты сама на них, хоть мельком, да взглянула.

Им тоже плохо вне систем, без Тем, совсем

Их модной серости утроба затянула.

О, господин Перформанс, ты – король

Бездушно-дорогой, блестящий и холодный.

Природе глупой ты подыщешь роль,

В которой заживёт она свободно.

Третьи мысли:

Весна... Весна! Кругом соблазн – примета века.

А ты грустишь. Ну, хватит – улыбнись.

Расклеим завтра же: «Мы ищем Человека!»

Не отлегло? Есть средство – прослезись.

Но ты упрямо на Тахі в вечерней дымке

Спешешь домой, где модный гардероб,

Без слёз, без слов, без телефона Dimki,

Который мачо был, а – если честно – жлоб.

Да, трудно жить вам, бедные мажоры!

Вам не дано дешевле и простей.

Не можете с очей вы скинуть шоры,

Расти душой, мудреть, учить детей ...

Перформанс ваш, по счастью, не вечен:

Пройдёт и он, как с белых яблонь дым.

Живым был тот, кто не был безупречен ...

Больным я провалялся целую неделю. Меня потеряли, а я и не позаботился кого-либо оповестить. Звонил директор – ругался, грозил снять с проекта. В конце разговора пожелал здоровья и благополучного возвращения в коллектив. Он любил выделять это слово то сочным ударением, то некоторой паузой перед ним. Иногда повторял его, словно от рассеянности, дважды, а то и трижды к ряду. Во всём современный директор всё же был человеком оттуда. Ему со многим пришлось порвать, от много отказаться, но забыть яркие, греющие советские половины ума и сердца, архаизмы он был не в состоянии. Коллектив улыбался. Коллектив всё ему прощал.

Не преминула позвонить Лиза Плещеева – симпатичный менеджер с исключительным интересом к моей персоне. Она попыталась рассказать мне обо всём на свете. Начала, как и всегда, с общих слов обо мне и моём здоровье, однако скоро сорвалась на корпоративные сплетни и на бесконечный пересказ последних, увиденных ею в кинотеатре, фильмов:

– ... но Хопкинс там хорош, таким я его ещё не видела. Помнишь мы спорили?

– Да, кажется ...

– И знаешь – тебе надо тоже обязательно его посмотреть. Я могу купить тебе билет ...

Или нет ... Лучше, когда поправишься, возьми его сам и меня возьми с собой.

– Ага.

– Вот ... А я теперь кофе другой марки пью. Говорят, что в прошлом нашли какие-то

вредные для печени вещества. И девчонкам нашим отсоветовала пить. Продают фигию всякую.

– Это точно ...

– О, прикинь, тут пока тебя не было, проверка из Москвы приезжала. У нас, естественно, полный кибиш. Светка Быстрова ...

– Лиза, я спать хочу. Давай позже поговорим.

– А ... Ну, да ... Хорошо ... Я вечером тебе брякну. Давай. Пока.

Звонили из окружения Коцака. Звонил и сам Коцак (дважды) – я не отвечал. Очень хотелось вычеркнуть эти ложные знакомства из моей нынешней жизни. Впрочем, трезвым умом я понимал, что мечтаю о невозможном.

Однажды ночью мне приснился довольно странный сон. Снилось нечто разрозненное, плывущее. Ни один сюжет не разрешался до конца и лишь провоцировал появление новых, ещё более запутанных, историй. Запомнился бесконечной ширины и глубины колодец из камня. Его стены обтягивала стальная сетка и я карабкался по ней наверх, рывками меняя положение рук. После каждого такого рывка сетка предательски укорачивалась, заставляя ноги тщетно ёрзать по холодному монолиту. Я начал понимать, что слабею, причём очень быстро. Невидимая гадина огромными, не знающими меры, глотками высасывала из моих рук спасительную их силу. «Обязательно упаду» – подумал я и уже решил, как в детстве, попытаться открыть, накрепко спаянные сном, глаза. Тогда избавление. Тогда минутное расстройство сердца, немного пота и целительная явь вокруг.

Руки зашлись противной мелкой дрожью. Суставы принялась лизать та горячая, доводящая до обморока, истома, после которой они начинают неметь и жить автономно. В следующий момент руки отпустили сетку и я, крепко зажмурив глаза, смиренно провалился в колодезную неопределённость. А ведь раньше в таких случаях я всегда просыпался. Всегда ...

Когда падал – боялся. Но не убийственной встречи с твердью (к этому я был внутренне готов), а бесконечного падения в ничто, в чёрную дыру бессмыслицы ... Впрочем, бессмыслица очень скоро проросла новым видением. Я увидел своего босоногого двойника, сидящего под большим развесистым деревом. На нём была одета безупречно белая рубашка навыпуск и просторные льняные брюки. Ступни его босых ног неприятно покалывала жёсткая стерня. Вокруг пустое, недавно сжатое поле растекалось в необозримую ширь, теряя границы в тумане, разбавленном солнечным янтарём. Какой-то вагон стоял в отдалении. Но даже он, непонятно кем сюда водружённый, показался мне вполне обыденным, когда чуть в стороне от него я заметил призрачную женщину с большим испанским веером, сидевшую рядом с мольбертом.

Женщина изящно вздёрнула подол длинного платья и неуловимым, но в то же время очень мягким движением, закинула ногу на ногу, кокетливо вытянув вперёд нос старомодного кожаного башмачка. Двойник подогнул исколотые стерней ноги под себя и, кажется, собрался окрикнуть незнакомку, но та вдруг резко поднялась с маленького плетёного стульчика, сделала чуть заметный книксен и жестом предложила невидимому существу садиться ближе к мольберту.

Я удивился ещё больше, когда из потёртой набедренной сумочки она извлекла два карандаша (синий и красный) и начала синим бросать на лист контуры чьего-то лица, хозяина (или хозяйки) коего не существовало для моего зрения. Глаза напряжённо вглядывались в текущее янтарно-молочное марево, но видели лишь вросший в землю

вагончик, мольберт и вызывающие всплески рыжих прядей, скрывающих обнажённую спину художницы.

На мгновение двойнику показалось, что женщина вовсе не рисует, а стоит и смотрит на него, подёрнутыми лукавой дымкой, серыми глазами.

– Я здесь! – довольно громко кричит двойник.

Его дразнит тишина и безразличие со стороны художницы.

– Я иду к тебе, – произносит он чуть тише, но уже более уверенно.

И действительно идёт. Она по-прежнему безучастна. Двойник начинает злиться, намеренно убыстряя шаг. Но тут она жаворонком срывается с места и бежит от него за вагон. Он устремляется за ней, обегая ржавый закруглённый угол, и едва успевает полюбоваться грациозной мощью её быстро удаляющегося тела...

А дальше смотрю уже не я. Это Ангел Сна воспользовался моими глазами. Он зрит сверху. Он наблюдает за игрой художницы и моего двойника. Видит двойника, неожиданно споткнувшегося на очередном повороте, и девушку, забежавшую внутрь вагона. Мой двойник рывком открывает дверь и делает шаг...

Наутро мне стало гораздо лучше, температура спала. Некоторое время я думал об этом сновидении, пытаюсь прочесть его скрытый намёк. Но вскоре оставил эти попытки и передал полномочия будущему.

В конце мая я выздоровел окончательно. Позвонил директору и Лизе. Директор выдал облегчительное: наконец-то ... Лиза салютовала в трубку оглушительным «вау!» и добавила: это просто необходимо отметить. Офис встретил меня стрекотанием ксерокса, телефонными трелями, предельно короткими юбками и загорелыми плечами. Девушки улыбались, подмигивали, цеплялись с дежурным: как дела? Я ловко отшучивался, они смеялись, кокетливо запихая в рот пьяные конфеты, и толком не прожевав, тянули шоколадные пальчики к трубкам, сорвавшихся с цепи, телефонов. За стеклянной дверью потемнело и в офис молодцевато вбежал директор.

– Здравствуй, Вадим. Ну как? Поднажмёшь? Поднажмёшь. Совесть у тебя есть.

– Ну, если дело только в совести ...

– Вот-вот ... Зайди ко мне минуточек через двадцать. Подискутируем.

– Непременно.

Когда директор вышел, его любовница Света Быстрова подскочила ко мне и промурлыкала над самым ухом:

– У него уже целую неделю стабильно хорошее настроение. Пользуйся.

Я ответил ей чем-то похожим на улыбку. В одиннадцать прибежала Лиза (была у зубного). Она мазнула по мне своими беличьими глазками, чмокнула в уголок рта, обдав свежестью цитруса, и сказала тоном личного имиджмейкера:

– Тебе нужно срочно постричься и пополнить. Я запишу тебя к своему парикмахеру. Мальчиков он стрижёт обалденно ...

И потекли дни – полусонные, обманчивые. Дни, в которых меня, скрепя сердце, пригласили поучаствовать, куда не нашлись другие – родственные моей сути дни. Временами, отрываясь от компьютера и телефона, я подходил к большому (ростом во всю стену) пластиковому окну и наблюдал летнюю суету города.

Стояла вполне июльская жара, хотя на календаре было что-то около 10-го июня. Воздух слипся в одну большую полупрозрачную массу углекислоты и пыли. Живое мучилось телом и задыхалось. Презрев свой обычный индивидуализм, горожане густо облепили скамейки

небольшого сквера. Жара чудным образом уравнила в правах на тень студента и пенсионера; усадила – коленочко к коленцу – хиппующего грязнулю и, застёгнутого на все пуговицы, лощёного клерка; свела под растительной кровлей старого каштана голоногую куртизанку и папашу троих детей с жёсткими дерново-подзолистого цвета усами а la Максим Горький.

Большинство молодёжи щеголяло в тёмных очках разного фасона. Другое большинство избрало диктат наушников, а третье (оно же подавляющее большинство) совмещало обе модные тенденции. Взгляд, повинувшись настроению мыслей, выхватил из полуденной чехарды «всю из себя герлицу» (фразочка, подслушанная мною в одной кофейне). Цельный с первого взгляда её образ: сумочка, папка под мышкой, сотовый телефон в режиме активной коммуникации, золотистые туфли с острыми шпильками, бутылочка «Sprite» в загорелой длани – запросто мог развалиться, погаснуть. Стоило лишь убрать какие-нибудь два предмета – телефон и папку, например. А если отважиться пойти дальше, т.е. распаковать коробочку до самого подарка, то и вовсе могло получиться нечто глупое, пустое ...

– Пить чай, пить чай, чай с тортиком, пить чай, – застрекотала над ухом Лиза, погубив финал очередного интересного наблюдения.

– Отчего же не кофе, Лиза? – спросил я у моей беспокойной блондинки, продолжая шарить взглядом по урбанистическому пейзажу.

– Не могу сегодня пить кофе. Надоело. Да и коньяк кончился ... Слышишь, Вадим?

– Угу.

– Значит в кафе?

– Легко! – бодро ответил я, обернувшись и хлопнув в ладоши.

Лиза ответила мне своей беличьей (не могу объяснить почему) улыбкой. Сегодня она походила на самую прелесть. И лёгкие тифельки с ремешками, и женственная правильность ног, едва прикрытых у основания крохотным козырьком мини-юбки, и полоска живота, чуть тронутая ореховой краской загара ... « Идти за нею куда угодно. Целовать, делать подарки, охранять ... Жить в её великолепии, не замечая смены дня ночью, не просыпаясь. Как всё это представимо, как точно придумано для неё судьбой ... с другим – сильным, властным, знающим жизнь фактически и, без иллюзий, любимым ею».

Лиза ухватила за мой указательный палец и повлекла вниз – на третий этаж торгового центра «Paris». Я следовал за ней с притворной ленцой и улыбался, наблюдая особо крутые маневры её бёдер, знающих о своей молодости и красоте.

– Ужас как хочу в Италию, Вадим. Конечно, Египет, Тай ... Но Италия ... Там не так. Там культура и всё такое ... Там Феллини родился. Прикинь? А ты любишь?

– Что?

– Феллини.

– Периодами.

– Ну вот опять ты так отвечаешь – кратко и непонятно. Ты специально, да?

– Да, ибо хочу ещё и ещё раз слышать твой обворожительно обиженный лепет.

– Маленький врун, – с деланной досадой вывели её аккуратные губки.

– А ты ... модница.

– Я?! ... Ну, да ...

И тут мы вместе беспричинно засмеялись. И просмеялись до самого кафе, собрав несколько проходящих взглядов разной выразительности и оценки. Кафе оказалось практически пустым. Мы быстренько заняли столик и подозвали официанта.

– Чёрный турецкий с двумя капельками коньяка, пожалуйста, – продиктовала Лиза с

нотками опытной небрежности.

– Кофе реабилитирован?

– Ты вернул мне здоровое отношение к вещам ... Кстати, как продвигается твой проект?

– Бывало и лучше.

– Тебя что-то напрягает?

– Нет, просто ... А, так, ерундистика.

– Может расскажешь, может посоветую чего, – начала Лиза, но осеклась, увидев усталое равнодушие моих глаз, и только добавила, – не забывай меня, ладно?

– Об чём вы говорите, Лизавета Анатольна!

– Опять дурачишься.

– Стараюсь быть оригинальным.

Кофе пили без реплик. Лиза каждые пятнадцать секунд ныряла в сотовый. Выражение её лица невольно передавало мне смысл приходивших сообщений. Она во всём была такой: слегка наивной, местами шумной, постоянно увлекающейся и, вместе с тем, довольно отзывчивой натурой. Многие мужчины увидели бы в ней свой идеал. Иные, более въедливые искатели, начав классифицировать сильные и слабые стороны этой девушки неминуемо разочаровались бы. Но не от посредственности Лизы, а скорее от незнания главного о ней. Тайна Лизы состояла в том, что постигать её – Лизу – нужно было сердечным чутьём, вбирать полностью и без оговорок; любить за игристую особость каждого её движения, сделанного не для конкретного избранника, но как будто подаренного сразу всему миру.

– Ой, блин, чуть не забыла! Вадим, через два дня я праздную день рождения. Готовь подарок и готовься сам.

– Будет что-то грандиозное?

– Нууу... для начала срыв в работе всего офиса во второй половине дня. А потом ... Знай, что ты в моём плане.

– Что мне предстоит?

– Мы пойдём с тобой в сказочно дорогой ресторан, а после ритуальной части будем гулять по городу и нагло распивать шампань на набережной под самым носом у полисменов. Прикольно будет, правда?

– Потрясающе. Лиза, но почему со мной, почему не с Сергеем?

– Он будет работать. Как всегда будет пахать до потери всяких мужских сил. Поздравит эсэмэской, поздно явится, буркнет чего-нибудь соответствующее моменту ... Да, так и будет, – Лиза сделала короткую паузу, смешно надув беличьи щёки, – ещё подарит вещичку или духи, которые обязательно окажутся не в моём вкусе. Сделав всё это, он сразу забудет о моём существовании. Прикинь? Достанет из холодильника пиво, зашуршит ужином из «Макдональдса» ... И так, блин, уже два с половиной года. Скукотища, Вадим. Просто хавайся...

– Понятно ... Точнее, я представляю как всё это может быть.

– И вот поэтому ты не откажешься от участия ни в одном моём капризе.

– Не факт.

– Значит ты совсем меня ... эээ ... не уважаешь?!

– Я хотел сказать ...

– Скажешь в офисе, на ушко.

Последние слова она говорила, споро подымаясь из-за хрупкого кофейного столика. Я рефлекторно плеснул остатки гуши на корешок языка, в последний раз пережив мягкую

горечь напитка.

День прошёл обыденно и спокойно. Я ждал весточки от Дианы. Она молчала. Мне стало казаться, что я попал в зону пустоты, отделившую меня от тех людей и дел, которые, в идеале, должны были составлять круг моего повседневного внимания. Но в ещё большее уныние привела меня мысль о том, что все мы – люди думающие и страдающие – страдаем и думаем в недоступной дали друг от друга, что позволяем так просто расплыть наши годы и наш талант. Бездействуем в то время, когда необходимо, смело отринув соблазны, взяться за руки, увидеть общую цель и вместе пойти тропой предназначения.

Вечером, после работы, я купил в газетном ларьке свежий номер Газеты (никогда не любил читать её сетевой аналог) и что-то из официоза. Прочитав пару театральные рецензии да занозистый фельетон особо почитаемого публициста, я отложил Газету в сторону и решил заглянуть в официоз. Моё внимание привлёк, вынесенный на обложку, заголовок «Недоперестроенные». На соответствующей полосе глаза нашли колонку:

«Лет пять назад об этом ещё нельзя было говорить и писать. Теперь, когда страна разменяла свой второй демократический десяток, когда стабильность стала синонимом национальной идеи, когда народилось поколение свободных и благополучных, можно.

Мы долго ждали от них поступка – надеялись, верили. Но, *se la vie*, мы упустили их. Они же забыли (а может и не знали!) о том, что спасение утопающих ... и т. д. Наши двадцатилетние, я не хотел писать рекем, но обстоятельства сильнее моей доброты.

Вас угораздило родиться в то дряхлое, выжившее из ума, времечко, когда история неожиданно потеряла своё лицо. Для отвода глаз те события обозвали «ускорением», «гласностью» и, впоследствии, совсем стильно – «перестройкой». Но и в этих свежих, бередящих застойный ум, словечках ещё крепко сидели старость и тление позднего совка. Двадцатилетние, когда я гляжу на вас – я вижу молодых людей с глазами стариков.

Вы счастливо росли в условиях тотального разложения традиции. Старшие пичкали вас самой свежей попсой и джинсой. Тогда многие из вас впервые услышали слово демократия. Вас холили и лелеяли; вас снабжали информацией, не научив подходить к ней критически. Поздравляю, двадцатилетние, из вас получились отличные конформисты.

О ваших идеалах и целях вашей жизни говорить вообще страшно. Возможны ли они у вас? ...»

Глаза мои закрылись: «Разве можно так бесцеремонно беречь оголённый нерв? Разве мы виноваты перед сроками и разве мы влияли на жребий истории? Эта статья превышает высказывание на тему. Это гнусно приготовленное разоблачение – распоротое чрево поколенческой тайны, о которой неприято говорить даже среди посвящённых».

Нужно было кому-то срочно позвонить, высказаться. Я выуживал из телефонной книжки номера и сразу же сбрасывал. Мысли шатались от возмущения, но ещё больше от поиска ответного кровоостанавливающего жеста. И тут позвонила Лиза.

– Привет. Как твои делишки? Поговори со мной.

– Лиза ... Тут ... Понимаешь ...

– У тебя что ... Ты сейчас с девушкой там, да?

– У тебя только одно объяснение.

– С мальчиком значит?

– Лиза, ты ... Ладно, всё, переболели. И так, что побудило вас позвонить мне в столь интересный час?

– Давай без приколов, Вадим. Я на самом деле хочу с тобой немного поговорить.

- Да не приколом это называется, а иначе.
- Как?
- Пуффф ... Завтра скажу на ушко. Идёт?
- Хорошо ... Вадим, а мы с Серёжей опять поругались.
- Сочувствую.
- Мы совсем перестали друг друга понимать ...

Я знал продолжение. Лиза далеко не в первый раз транслировала мне этот монолог. Я предвидел, что через два-три предложения её голос сведёт горькая судорога. Она будет делать вид, что усиленно сопротивляется последней (т.е. держится из последних сил). В действительности же то будет чувственная преамбула – своеобразное приуготовление слушателя к завершающей, особо драматичной части выступления. Чуть позже голос внезапно сорвётся; одна за другой лопнут мембраны гордости, приличия, стыда и женская скорбь водопадом со стен Путивля хлынет за пределы мужского понимания.

Зачем я слушал её и зачем каждый раз замирал в терпеливой паузе, стараясь изобразить безликого поверенного в её интимные казусы? Быть может я незаметно для себя любил Лизу? Нет. Но что-то определённо руководило мной. Что-то связанное с её бесхитростным очарованием, с её предельной верностью самой себе в любых крайностях.

Как ни странно, слёзный пассаж Лизы меня отрезвил. Вечер за окном становился всё глубже и глубже. Смолкли стрижи. Утих рёв дороги. Подвижные дневные краски выцвели до гравюрной простоты, затвердев одним большим сумрачным хокку. От края оконной рамы нежданно отстал угловатый кусочек птицы. Поздняя чайка лишь на мгновение потревожила спокойную ритмику пейзажа, оставив на смуглой выкройке небосвода сырые письма усталых крыльев. И горький печатный текст походил теперь на такие же сырые письма, дошедшие до жалкой горстки, читающих в начале XXI века газеты, молодых людей. Стоило ли волноваться и звонить. Уж лучше молчание. Пусть сплетничают старухи у подъездов, пусть нахмурят лбы олигархи и депутаты, пусть равнодушная доля страны обратит особое внимание на плеяду заблудших. Пусть, как водится, разразятся пустопорожние теледебаты в лице респектабельных подборников установленной регламентом истины. Моё поколение ответит молчанием. С достоинством. В неведении.

– Твои руки пахнут шампанским и ещё очень ... я не знаю, – пробубнила пьяноватая Лиза, смакуя виноградную ягоду, поднятую губами с моей ладони. Мы праздновали её двадцатипятилетие. Худенькая, с короткой стрижкой, одетая в белое с розовым поясом платье, она походила на студентку-первокурсницу.

- Ты космически красива сегодня.
- Правда?! Интересно, – она по-детски прикусила указательный палец, – почему это так редко случается в обычной жизни?
- Что именно?
- Восхищение друг другом, праздник, шампанское ...
- ... прогулки по набережной, тихий июньский вечер, знакомые лица совсем незнакомых людей.

– Да, Вадим! Да. Я сейчас думала о том же самом. Классно, когда тебя понимают, когда знают о твоих желаниях и не смеются над ними. Только с тобой ...

Тут Лиза умолкла. Я на мгновение опустил глаза. В воздухе носились частички парфюма, а с реки тянуло чем-то травянистым.

– Давай спустимся к воде, – предложила она не своим, но как будто найденным на другом берегу реки, голосом.

Я кивнул. С быстротой вихря она ухватила толстое горлышко шампанского своей маленькой цепкой ручкой, минула шербатые ступени спуска, каждым движением всё более и более очаровывая меня.

– Sit down please[4].

Я приземлился на массивную колоду ветлы. Она села рядом, сведя колени в равнобедренный треугольник и опустив кисти рук на его бугорчатую вершину. С удовольствием взглянув на её профиль, я тут же расстроился от мысли, что она не может остаться в этой позе навеки. Освобождённое от мирских условностей озорным «Брютом», тело её обрело ту степень натуральности, ту полноту истинно женской самости, которую я всегда подозревал за ней. Но ещё больший восторг пробудили во мне кисти её потрясающе живых рук. Они спокойно лежали одна поверх другой как две сестрички, вдоволь нарезвившиеся за день и теперь уснувшие (младшенькая на старшей) трогательным сном родственной влюблённости. Не желая более сдерживаться, я прильнул губами к их тёплой гладкости, ко всему тому, что заставляет верить, вопреки модному цинизму, божественной тайне встречи мужчины и женщины.

Она вздрогнула и плавно разомкнула треугольник. Я поцеловал её колено, потом другое... Её быстрые и смелые пальцы затеяли нервную игру с моими волосами, тело заволновалось, предчувствуя желанную близость. И остро, с какой-то тропической дикостью, пахло цитрусом её духов.

– Мне хорошо сейчас, слышишь. Я тебя ... Милый ...

Слышал ли я её? Да. И в то же время я слышал лепет старых тополей, отделявших нас от города своим древесным заслоном; слышал как шелестит ковёр прибрежной осоки, как вскипает волна, обожженная скоростью шального катера. Я представил, что этот фрагмент июня с его тополями, осокой, краешком речной воды и стоеросовой колодой может подняться ввысь. Может унести нас от любопытного глаза и скверного слова, от нас самих, забитых тоннами повседневного спама. Мы поднимались бы всё выше, умаляя предрассудки. Всё более становились бы самими собой, обрастая достоинствами.

Мы целовались как безумные, пока не хлынул самый настоящий ливень.

– Бежим! – крикнул я и поднял её жаркую, моргающую от частых дождевых капель, на руки.

На остановку мы прибежали вымокшими с головы до пят. И заходились смехом, расплачиваясь с кондуктором влажными, плотно слипшимися, червонцами. Пассажиры смотрели на нас с интересом и недоверием, а мы смотрели друг на друга, и я собирал в ладонь дождевки, капавшие с её волос и щёк.

– Поехали к тебе, – прошептала Лиза, элегантно отжав прядь большим и указательным пальцем.

– Поехали ... А как же Сергей и всё прочее?

– Он поздно вернётся сегодня ... И вообще, Вадим, мне срочно нужна горячая ванна, глоток виски ... Так, что ещё. Может подскажешь?

– Думаю, что ты не откажешься от совместного просмотра какого-нибудь адекватного моменту фильма.

– Ага. То что надо. И откуда только ты знаешь всё это обо мне.

– Да ведь всё это уже написано о тебе.

– Где?

– Здесь прямо и написано.

Я пристально посмотрел на её левую мочку. Она обернулась, но мгновенно поняв глупость содеянного, прыснула на весь троллейбус, как всегда, наивно и заразительно. Лиза смеялась, держась за вертикальный поручень, слегка откинув назад изящную головку. Сырое платье жадно прильнуло к её молодым, стремящимся наружу, грудям, а вымокший коротенький подол облепил её правильной формы бёдра. Я обнял её за талию и уже не отпускал до конечной.

Проснувшись довольно рано (не было ещё и семи), я увидел рядом с собой едва знакомую женскую наготу – мерно дышащую линию познанного горизонта бёдер, талии, плеч, шеи, над которой возшло великолепие утреннего солнца.

После этих событий близость наша мгновенно узаконилась и, в то же время, отделилась от нас, став частью повседневного. Лиза время от времени ночевала у подруги (так говорилось мужу), я же с каждым днём наполнялся мыслью о том, что нам необходимо быть вместе и готовился к серьёзному разговору с Сергеем. Вскоре наши с Лизой отношения стали очевидными для всего офиса. Нам делали намёки. Лиза смущалась, но цвела. Я злился на длинноязыкость мира, прекрасно сознавая бесполезность подобной злости.

Прозрения

Наступила середина второго летнего месяца. Шёл обычный рабочий день. Я пялился в монитор и медленно сходил с ума. Тогда же мне позвонили с какого-то закрытого номера.

– Слушаю вас.

– Здравствуй, Вадим, – вкрадчиво прозвучал в трубке голос Коцака.

– Станислав? ... Здравствуй ...

– У меня есть важное сообщение.

– И ...

– Я должен сказать тебе не совсем приятную новость.

– Что произошло?

– Видишь ли ... Ты помнишь Лазареву? Ренату Лазареву.

– Мог бы и не спрашивать.

– Хорошо ... Так вот, Рената Лазарева четвёртый день в больнице, в состоянии тяжелей некуда.

– Что с ней?!

– Она исполосовала ножом вены и потеряла кучу крови.

– Откуда ты ...

– Разговаривал с её отцом. Он крупный бизнесмен, совладелец «Машука». Слышал об этом месте?

– Да, кажется ...

– Одним словом, плохи ренаткины дела. Жалко её.

– Слушай, Коцак, ты можешь сказать мне адрес этой больницы?

– Могу. Но это частное заведение – туда всех подряд не пускают.

– А если договориться?

– Могу и это.

– Адрес.

– Пиши.

Как же пошло и поверхностно прозвучала эта фраза Коцака: «плохи ренаткины дела». «Но почему? Зачем она сделала такое с собой? Неужели моё письмо ... Нет. Надо что-то решить. Надо придумать что-то здоровое и здоровое. Как скользко кругом, как всё теперь болезненно и тонко ...».

В клинику к Лазаревой я смог попасть лишь вечером. Меня так загрузили делами, что я едва помнил себя, но непрестанно думал о ней, пытаюсь, хотя бы мысленно, держать с Ренатой живую связь.

Меня провели в одиночную палату, очень просторную и светлую. Здесь обоняние не резали, обычные для государственных больниц, запахи йода, перевязки, хлора, прокисшей еды в тумбочках больных und a.m. Здесь работал кондиционер с ионизатором воздуха; на хайтековском столике модно рисовалась фиолетовая, в золотой оплётке, ваза с орхидеями и тонконогая, чуть ниже ростом, чаша, заполненная фруктовым ассорти.

Меня оповестили, что состояние Ренаты крайне лабильно, что сейчас она спит и мне лучше не будить её. Я кивал головой, думая совершенно о другом, как всегда бывало у меня в подобных случаях.

Рядом с её кроватью сидел медведь абсолютно глупого плюшевого вида. Нет, в других условиях этот мишка показался бы мне верхом прелести. Но сейчас, увидев её особенное лицо, я разом потерял интерес к чему бы то ни было побочному, отходящему от главной темы – темы жизни и смерти.

Не будь у меня точной уверенности, что эта бледная с заострившимся келейным лицом девочка и есть та самонадеянная, исполненная рекламного оптимизма, Рената Лазарева, я бы не понял теперешнего её состояния. Действительно, жизнь всегда шире наших представлений о ней ... Я видел перед собой врубелевскую царевну-лебедь, подбитую стрелой эпохи и, казалось, растерявшую всю вложенную художником инфернальность. В её болезненных скорбных чертах угадывалось спокойствие новорожденной правды, о которой она ещё не знала. Но одно лишь это случайное наблюдение (лучше иных диагнозов и прогнозов) обещало скорый исход; возвращение к прежней и, в то же время, абсолютно новой жизни.

Я наклонился к её ушку и очень тихо прошептал: я люблю в тебе всё то, о чём другие даже не догадываются. Мне показалось, что она шевельнула губами в ответ. Поцеловав её в подбородок и проведя тыльной стороной ладони по мягким прядям, я поспешил удалиться.

Пеший путь до офиса (так я сам для себя устроил) располагал к размышлению. Несмотря на то, что я заметил в Ренате следы грядущего выздоровления, внутри разрасталось жгучее неудобство. Внезапно мне открылась ложь последних дней и, вместе с тем, ложь всей моей прошедшей жизни. Я плюхнулся на скамью в ближайшем сквере, разведя руки в стороны по краю деревянной спинки. Сердце зашлось неровным пляшущим колотом. И не было сил преодолеть эту противную слабость.

«Сколько тщетного совершено! Сколько я учил жить других, не умея жить сам. Сколько эгоистической грязи вылил я на этот мир, не имея решимости следовать собственным словам. Сколько терпел; сколько времени прятался под личиной выжидательного бездействия. А ведь уходят (и уже ушли!) не дни, но годы – лучшие годы жизни, обещавшей вначале что-то особенное и героическое, вычитанное на страницах романов Купера и Скотта. О, как незаметно заводится в душе трусливая пошлость!».

Мимо проходили люди. Мимо проносились годы. Мимо проплывал июль, одетый в зрелую липовую зелень. Ноги сами собой несли меня по улицам и переулкам. Люди, деревья, архитектура – всё было узнаваемо и знакомо, но абсолютно немо. Так человек в пору глубокой депрессии видит лишь означаемые предметов, упуская их смысл – смысл бытия.

Пелена стала рассеиваться за два светофора до дома. Я остановился возле первого и впервые ощутил себя заложником города. Солнце завершало полдень. Люди, как всегда озабоченно и торопливо, шмыгали по зебре с одной стороны улицы на другую, старательно отводя глаза от грязного, в прорванной на спине и локтях зимней куртке, бритенького паренька, упавшего на колени в траву рядом с тротуаром. Паренёк неуклюже (и очевидно с большим усилием) повернул голову и посмотрел на меня мутным полубредовым взглядом, который говорил: «Помоги!». Я подошёл к нему.

– Братец, дай на пиво, – прогундел паренёк, разжимая красный мозолистый кулак, из которого выпали на траву две мятые десятки. – Мне бы потом до ларька только ... Слушай, братец, а как домой попасть?

– Откуда ты? – спросил я, только теперь рассмотрев лицо паренька по-настоящему. На его мужественном прямом носу сидела коричневая ссадина. Рябые щёки, точно сухими брызгами, покрыты были бордовыми чёрточками царапин. А тонкие плоские губы обтянула шероховатая плёнка засохшей крови.

– Освободился я ... неделю назад. В городе плохо, а мне бы домой сейчас ... Братец, мне бы до ларька ... – бормотал он точно в бреду.

– А куда тебе надо попасть?

– Надо в Чехов. Там сестра и соседка Таня. Ещё есть дядя в Москве ... злой. Я неделю тут... Спал в гараже, когда избили ... Документы, деньги ... избили ... забрали всё.

Я купил ему бутылку пива. Он сделал несколько глубоких жадных глотков.

«Господи, ведь он примерно одного со мной возраста, одного поколения. Но как низко в нём пала жизнь. Для чего он рождён на этот свет? Неужели для того только, чтобы служить страшным примером для остальных, чтобы всю жизнь искупать свою дурную наследственность – жить для страдания, а не для счастья».

– Мы по машинам работали ... Я четыре года открутил. Вот теперь бы сестру увидеть ... Она у меня закончила институт, отличница ... И Танька ... Таньку бы тоже хорошо ... Братец, мне бы попасть в нормальное место ... Помоги, братец.

– Может милицию за тобой вызвать? Там отоспишься и разберёшься во всём. Там тебя сориентируют.

Паренёк утвердительно мотнул головой и я набрал «02». За ним довольно быстро приехали двое неопрятных дядек с автоматами. Он покорно исполнял все команды, но его для приличия дважды не сильно пнули в бока. Он молчал, потом шлёпнулся в зарешеченный багажник и застыл.

По прошествии самого малого времени я был уже дома и закидывал дорожную сумку первыми, попавшимися под руку, вещами...

Путешествовать. Шествовать своим путём. Стремиться навстречу с самим собой, не зная, с кем или с чем предстоит встретиться. Были времена, когда путешествия совершали либо с целью исследования, либо по соображениям торговли, либо из желания завоевать новые девственные земли.

Существовал первобытный простор для фантазии и для действия, желающего воплотить эйдосы в земные доказательства. Человек действительно ощущал себя вечным странником, ибо не знал пределов мира, но содержал в душе страсть – природную расположенность к подвигу и аванюре. Люди в ту пору мало думали о себе – в том смысле, что предпочитали самокопанию самовыражение, анализу синтез, а раздробленности цельность. Жаль, что идеализм довольно быстро уступил место однобокому скепсису, благополучно дожившему – с небольшими романтическими заминками – до наших дней. Следующее высказывание (главным образом его назидательный аспект) просим рассматривать как типичное для нашего времени заблуждение: Бессознательное путешествие к центру души само по себе прекрасно, художественно. Тогда как сознательные глубинные копания требуют некоторой осторожности. Важно помнить, что во внешней среде и среде внутренней есть для отдельно взятого индивида органические пределы. Есть окончательно непреодолимые в реальном мире сверхсистемы и есть более неделимые в сфере внутреннего первосистемы. То и другое – божественные крайности, внешняя и внутренняя вавилонские башни, неисчислимы и неопишуемые бесконечности.

Путешествие продолжается ...

«Бежать. Без оглядываний и остановок. Пусть потеряют, пусть звонят – плевать. Я не от них и не от себя, а от всего сразу...

Бежать от этого рвотного благополучия, из этих блестящих декораций, обрамляющих унылую пустоту; подальше от сотен успешных судеб и тысяч, жаждущих успеха; прочь от

роскоши с апломбом равнодушия и от бессмысленной всеобщей повинности во имя достатка».

Я шёл расхлябанной виляющей походкой, а точнее летел вдоль трамвайных путей, не имея сил дождаться транспорта. Сумка чужим, мешающим движению, бременем колотилась о левый бок, что одновременно и раздражало, и напоминало о реальности происходящего. На самых подступах к вокзалу меня догнал шумный красно-белый вагончик трамвая. Люди, вышедшие из него, смешно обегая друг друга, устремились к железнодорожным кассам, и я смешался с ними.

Поезд моего направления уже подали к платформе. Обшарпанные тёмно-зелёные вагоны при первом взгляде походили на старых усталых животных доисторического периода. Из дальнего тамбура вывалились три проводницы с жирно покрашенными ресницами и губами. Они смеялись, хлопая друг друга по плечам. В это время громкоговоритель объявил прибытие московской электрички. Заиграла музыка...

Я сел в совершенно пустой вагон. На спинке кресла следующего за моим ряда чернела размашистая маркерная надпись: «Здесь был Я – А. Лепетин, а вы все лохи! 13.11.06». Безотчётно проговорив про себя эту дурацкую строчку несколько раз, я уставился в окно лишь потому, что нужно было куда-то смотреть. С той стороны на меня глядела привокзальная толчея, которая нет-нет, да и оборачивалась унылой пустыней всеобщего тягостного ожидания. Ожидающие лениво (словно матросы сверхсрочники по палубе, ставшего родным, корабля) прохаживались вдоль платформы. Некоторые подпирали спиной жёлтые вокзальные стены и курили. Над крышей вокзала висело небольшое хлопчатое облачко – недвижимое и как будто прилипшее боком к приземистой ротонде. Голуби на широком оцинкованном козырьке сидели крылом к крылу и так тихо и незаметно переговаривались, что казались не птицами, но замысловатой частью архитектурной эклектики.

Прошло чуть более пяти минут, а я уже не знал куда деть свои мысли, свой скепсис, своё нетерпение, набегавшее припадочными волнами. Но тут на платформе что-то ярко полыхнуло и разом согнало с пейзажа всю замороченность и сонливость. Я прильнул к окну и увидел семейку цыган, выбежавшую из стеклянных дверей вокзала точно из горящего дома. Они выпорхнули на середину платформы (ровно напротив моего окна) и потеряно остановились там, завертев головами во все возможные стороны.

Молодая цыганка в красной, едва державшейся на её пышных вороных прядях, косынке ухватила за ручку смугленького кудрявого мальчика. Крупные и выразительные черты её лица были притом столь плавны, столь изменчивы при любом, даже самом незначительном, повороте головы, что казались границами дня и ночи, произвольно странствующими с востока на запад и обратно. Рядом с молодой цыганкой стояла, по-видимому, её мать – старуха с редкой полоской седых волос над верхней губой, одетая в широкие чёрные одежды. Вокруг старухи бегала шустрая девочка в нарядном голубом платочке и чертила кончиками пальцев по складкам юбки-колокола. Молодая цыганка что-то напористо доказывала мрачной родительнице, разгоняя воздух сильными движениями обветренных загорелых рук, а её плотное тело, одетое в тесную куртку и такие же тесные – прилипшие к бёдрам – джинсы, как будто искало выхода в дикий степной простор.

Чем дальше я наблюдал за ними, тем больше наполнялась волнением душа. До отправки поезда оставалось уже менее десяти минут. Вагон затоваривался людьми и шумел. Молодая цыганка всё также размахивала руками. Облачко, причалившее к ротонде, вдруг оторвалось

и, не успев толком набрать скорость, растворилось в небесной лазури. Вспорхнули голуби. Сердце вновь сжала клешня тоски. И тогда я решился ... Дождавшись мели в людском потоке, я выбежал из вагона на улицу. Цыганы пристально посмотрели на меня и я поспешно отыскал глаза молодой кочевницы. Они говорили мне, что я прав и ласково одобряли моё решение. Уже зайдя в здание вокзала, я намеренно обернулся, чтобы ещё раз повторить её для своей памяти. Я увидел смуглые руки, поднятые к волосам, огненный всполох косынки ... Вся тугость и внутренняя мощь прядей обрушилась на декоративный замочек заколки. Та вдруг напряглась, выгнулась и прыгнула в сторону озорной лягушкой. Волосы, словно чёрные птицы, получив долгожданную свободу, вылетели из тёмной клетушки и густо облепили спину и плечи цыганки.

Минув привокзальную площадь, я очутился возле остановки автобусов пригородного сообщения. К моему счастью, автобус нужного направления отходил вторым. Да и ожидание на свежем воздухе было в разы легче...

На выезде из города телефон потревожил звонок Лизы, оставленный мною без ответа. Сотовый пришлось выключить. Зелень за окном превратилась в реку без начала и конца, меня затянуло течением и понесло...

Хлюп, швак-швак, чваш ... И сыро, и долго, и тяжело идти ... Но вот болото заканчивается, а вместе с ним заканчиваются и непомерно большие, со слоистыми стеблями и лиловыми прожилками листьев, растения. Непонятно: во что обуты ноги? и как они сохранились от сырости и грязи?

Но болото позади. Впереди поле с расплывшимися краями – то поднимающее, то плавно опускающее пологую стернистую грудь. Я бреду по стерне, силясь узреть сквозь разбавленный янтарём туман противоположный край. Его же как будто и нет в природе этого сна. Есть мои шаги. И от каждого нового туман убегает вперёд странным взерошенным зверем. Я начинаю догадываться о том, что откроется мне через каких-нибудь пятнадцать-двадцать шагов. Но вот опять я смотрю не своими глазами – вновь Ангел Сна пользуется моим доверием. Ещё в детстве я обнаружил этого духа грёз, его бесспорное присутствие. Он тогда не умел ни думать, ни говорить. Как и я он зачарованно созерцал мистерию, боясь нарушить какой-нибудь юной неловкостью восторг одиноких полётов, прогулки в сказочной местности, будоражащую наготу первой незнакомки ...

«Иди смелее. Она там. Она ждёт тебя. Она рисует красным и синим. Она исполнит тебя» – говорит мне Ангел Сна. И я ускоряю шаг. И туман сторонится, открывая широкую просеку. И я бегу по ней с лёгкостью детства. Старый, глубже вросший в землю вагон; большое дерево, усыпанное теперь свежими листочками; её рыжие волосы и ловкие движения рук, оставляющие после себя красно-синий фейерверк штрихов.

– Я пришёл к тебе! – кричу я со всей возможной силой. Она улыбается мне вполоборота и, плавно отстраняясь от мольберта, указывает сложенным веером на портрет. Я подхожу ближе и без труда узнаю себя в ещё молодом человеке с выразительными, подёрнутыми особой печалью, глазами. Я оглядываюсь ... Её уже нет. Но нет и страха не увидеть её больше.

«Теперь ты посвящён и знаешь себя. И она узнала тебя. Теперь ты начинаешь жить...» – произносит Ангел Сна и исчезает.

Было ещё что-то в самом конце – слово или образ. А возможно мне показалось, и было только одно желание скорейшей ясности.

– Диана, – прошептали тяжёлые, слипшиеся ото сна, губы.

Деревушка Т., обросшая по краям тополями и высокой травой, стояла на глинистом пригорке у речки Удруса. Некогда, коренное население здесь существенно преобладало над дачным, но после очередной смены вех дачный способ жизни стал основным. В пору глухозимья деревня теплилась тремя-четырьмя желтыми пятнышками окон, больше похожими на сигнальные маячки, которыми оставшиеся селяне сообщали друг другу и всему близлежащему: «Живы!»

От Т. веяло заброшенностью и какой-то новой хуторской строгостью (от исполинских тополей, от мрачной ветхости изб, от заросшего рогозом пруда на окраине и от настороженной тишины местной природы). Здесь прошло моё языческое детство, запомнившееся грибными походами да удалыми играми (изошрёнными проказами) в общей орде чумазных аборигенов. Отец много работал в городе и вырывался к нам с мамой в редкие (« всегда очень солнечные» – так я запомнил) свободные дни. Я же, пропадая на улице с третьих петухов до первых перепелов, ждал этих встреч и мысленно готовился к ним – придумывал, чем удивить отца, какое из своих «невероятных приключений» рассказать ему на этот раз ...

Я трижды поворачиваю ключ в массивном навесном замке, скриплю облезшей зелёной дверью. На крыльце я кидаю сумку и сажусь прямо на пыльные сосновые ступени. Я один и в том, пожалуй, некого винить. Я один и, кажется, вполне сознательно.

Ночь ловко обошла меня сном. Утром я долго лежал на кровати и наблюдал в потемневшем от грязи оконном стекле обломок тополя, густо обросший тростинками молодняка. Потом была уборка и рейд до магазина в соседнюю деревню Д., где добротнотелая Любовь Илинишна, сразу узнав меня, между делом рассказала последние хроники двух деревень. На обратном пути, в поле, меня встретил сухонький мужичок в засаленной, вздёрнутой кверху кепке, стоптанных пегих валенках с подшивом и широкой, кинутый ему на плечи (словно на остов огородного чучела), фуфайке. При ходьбе он опирался на гладкую, с маленькой поперечинкой наверху, палку. Он появился на дороге так внезапно, что если и не вырос из земли, то произошёл, как минимум, от сверхъестественного сгущения молекул воздуха.

– День добрый, – поздоровался я, слегка кивнув головой.

– Добрый, добрый ... Узнал ли меня? – спросил мужичёк, сведя в улыбочивый прищур все морщинки на своём коричневом от солнца и самогона лице.

– Пытаюсь, но вроде бы всё мимо ...

– Фёдор я ... Фёдка Бода. Ну, не узнал, так и ляд с ним.

– Не вспоминается как-то.

– Ну и брось к чертям собачьим. Всех не упомнишь. С магазину значит идёшь. Дело хорошее. А курице у неё есть? – Я кивнул. – Ну, значит, не зря иду. А ты надолго ли к нам? – Я пожал плечами. – Да ты поставь пакеты, покури.

Он медленно, с какой-то чиновничьей важностью, достал из кармана красную «Приму» и несколько раз энергично стукнул запечатанным краем пачки по тёмно-жёлтому указательному пальцу. Показались две белые сигареты. Тут он поднёс пачку ко рту и резким (точно мяса кусок оторвал) движением выхватил зубами одну из них. Прикурил.

– А я-то из дому час с послишком назад вышел. Деревню прошёл, на поле вылез ... Да ведь со вчерашнего был – подрастало. Полежу – думаю – в овсе, пооклёмаю. Лежу. Только забылся грамм, слышу – сорока на Удрусе стрёкает. Не с проста – думаю – стрёкает

... Вот ... Или собачина бежит, или ещё кто ... Встал я на читвяреньки да поверх всего и смотрю ...

Мужичёк говорил и говорил без умолку, а я слушал и всё больше поражался тому, как рядовые, с виду незначительные, происшествия обретают в его самобытных словах огромную важность и значимость, на глазах превращаясь в историю отношений человека и мира.

– А у тебя чей вся изба батылой заросла? Надо бы стяпать ...

– И надо, и нечем, – подзадорил я мужичка, догадываясь куда он клонит.

– Вот! Нечем! Да я тебе моментом смахну, незадолго. Ох и коска у меня – егоза, а не коска. На одной отбивке весь синокос держится. Ты мне красинькую дай – в магазин сходить – а я вечерком подойду. Так ли?

Я дал Фёдору денег. Он хитро заулыбался, схватил бумажку и с силой сунул её в, катастрофически засаленный, карман фуфайки:

– Вот и спасибо, вот и выручил старика ... Не переживай ни об чём. Всё исделаю по-сказанному... Ну, побегу за лекарством. Будь.

Мы разошлись, но, пройдя некоторое расстояние в сторону деревни, я обернулся. Фёдор споро ковылял (левая нога заметно хромала) по обочине пыльной полевой дороги. За ним бежал по колосьям лёгкий ветерок и подымались ржаные комочки жаворонков.

Я шёл по дороге со своей тоской, неотступно преследующей меня и здесь, в никому не интересной глуши, безразличной ко мне и моим бестолковым мыслям.

Меня встречал шум тополей. Огромные их древесные тела покрывала салатовая, в тёмных крапинках и складках, кора, а мощные живучие корни, пробуравив земную твердь, вылезли мохнатыми отростками прямо на дорогу. Я сразу вспомнил деревенскую быль о том, как точно такой же тополёвый корень пророс под стену двора и в большую грозу стал причиной гибели скотницы Пелагеи. Рассказ прозвучал спокойным летним вечером. Семья сумерничала (так назывались вечерние посиделки в прощальном мерцании дня), и тихий голос мамы из темноты диванного угла звучал страшным кассандровым пророчеством. Впрочем, отец тут же наплёл чего-то весёлого и опасный тополь с мёртвой Пелагеей к исходу вечера совсем забылись. Забылись, но не рассеялись ...

Это случилось тремя годами позже. Отца уже не было с нами. Был знакомый летний вечер и мы с мамой смотрели телевизор. Выступал последний муж страны советов. Слова политические были для меня в ту пору загадкой. Но я видел на чёрно-белом экране лампового «Кварца» симпатичного дядечку с добрыми и отчего-то тревожными глазами. Теперь не могу вспомнить без ухмылки как пожелал просебя: « Сделай так, чтобы у всех детей были мамы и папы. И чтоб всегда была наша деревня. И пусть у соседей Парамоновых будет всё хорошо. И будь Ты, добрый дядечка с тревожными глазами».

Никто из нас, маленьких советских мальчиков и девочек, не ждал грозы, точнее – не думал о ней. А она явилась, ибо не могла обойти стороной. Помню как упал на пол и зажмурился: « Это не с нами, это так. Да и не будет ничего плохого. Есть добрый дядечка. Он всё о нас знает. Знает, что мы его смотрим и любим. Он есть – значит и мы будем». Когда всё улеглось, я вышел на улицу посмотреть на уродливый, зияющий в небо сырым мочалом, обломок осокоря. А позже, в самой ночи, мы узнали о том, что суком старой липы убило юродивую Пашу. Мама плакала...

В охваченном по самую крышу травой сарае, я нашёл старые берёзовые и осиновые дрова, затопил печь. Дом, выстывший и отсыревший, время от времени недовольно поскрипывал отвыкшим от тепла деревом. На закате, когда я приколачивал, расшатанные

годами безбытности, ступени крыльца в надежде пересилить трудом кромешную безысходность мыслей, явился Фёдор.

– Чаво пасмурный? Я в твои годы такой погоды и не знал. То на работу, то в лес, то к девкам бежишь ... Не домоседствовал. Сила была. А нынче, правда, ни девок, ни силы. Одна полюбовница моя на весь околоток и осталась – Маня Колпиха – да и та безгодовая. Хуже моёва...

Разговорчивость Фёдора происходила, как я сразу точно догадался, от недавно употреблённого. По началу мне хотелось дать ему ещё сколько-нибудь денег и уйти в дом, унести свою грусть к тёплой печи да к найденным в чулане «Превратностям любви» француза Моруа. Но Фёдор, точно почуяв мой настрой, поспешил прибавить:

– Ты не уходи далеко, а то и побалакать не с кем будет. Мало ведь с кем нынче вижусь. Живут как байбаки по норам, не достучишься. Всё бояться. В таки-то годы! Охохооой ... Даа...

Засвистело железо косы от шершавых, но бережных обоюдосторонних поглаживаний бруска. Рука Фёдора двигалась с той красивой произвольностью (свободной от случая и воли хозяина), каковая заслуживается сединой и кровопотным деревенским трудом, проходящим в сознании извечной неприделанности божьих дел. Фёдор скинул фуфайку. Охристого цвета, в наспинных заплатах, рубашка, явившаяся на свет, помнила, кажется, не только все зрелые фёдоровы годы, но даже его юность и ... страшно подумать что ещё. Я остался, присев на крепко приколоченную ступеньку. Фёдор поплевал в руки, актёрски выдохнул (как перед стопкой крепкого самогона) и начал первое прокосиво.

Загустели тени. Над Фёдором мельтешила вечерняя мошкара и вся фигура его, обдтая закатным солнцем, одетая в охристую линиялую рубашку, с копной мошкары над бронзовыми залысинами лишь отчасти принадлежала человеческому, сливаясь с природой, насыщаясь ей.

– А ты бобылём живёшь или как?

– Где-то так.

– Ну-ну... Мне девок нынешних – убей – не понять. Изойдут в кабанью щетинку и рады. Вот я какая! А какая? Мослы одни торчат ... Где им рожать ... Да они и рожать-то забыли как. А ведь я тебе скажу по-своему, по-нажитому: не рожавшая баба дурой до смерти доживает. Надо им пузатеть. Задумано так.

Фёдор обтёр лезвие косы свежим травяным пучком, закурил ...

– Эвона как корячится, – указал он на тонущее в плотном продолговатом облачке солнце, – ведру быть.

Коса заходила быстрее. Фёдор молчал, стараясь, видимо, не распалиться зря и поскорее закончить эту пустячную шабашку. Я встал и прошёл до калитки навстречу закату. Воздух напитывался влажной свежестью сумерек. Где-то заоблачно высоко просвистел одинокий кроншнеп. Ему, со стороны реки, ответила крякуша ...

– Ну, баста. Эй, хозяин, всё я ... Вона простору у тебя ныне сколько – хоть пляши. Ох, раньше и устраивали же мы биседы. Ноги истопчешь, а всё мало, всё задор ... Расквитайся со мной синенькой на опохмел.

Мы простились за изгородью. Я пожал его большую сильную руку, почувствовав её шероховатую мягкость.

– Завтра в обед шевельни травку маленько. А потом ... Потом Бог укажет, – закруглил Фёдор, приметив мой отсутствующий взгляд.

Промелькнула седмица и ещё полнедели. Выключенный до лучших времён сотовый, специально забытый на книжной полке, покрылся робким слоем пыли. Я ел,пил, спал, без интереса болтал с вечно пьяным Фёдором, читал старые журналы и забытые временем книги, навещал магазин, плохо понимая смысл всех этих дел и с недоумением наблюдая интерес к ним в глазах других людей. Это рассеянное существование трудно было перепутать с настоящей жизнью, но я, как выяснилось, и прежде жил «как бы». Все бывшие связи с миром, наработанные годами фантастических заблуждений, мгновенно истончились и порвались. Ни о чём на свете не мог я сказать уверенно и твёрдо. А если случалось созреть внутри какому-нибудь решению, то сразу, не позволяя мысли окончательно кристаллизироваться, включался безжалостный бур сомнения и своими острыми сверхоборотистыми лопастями превращал структуру в прежний кровотокающий и мятущийся хаос.

Иногда подступала такая безысходная тоска, что сердце начинало захлёбываться в частых тахикардических порывах, а тело покрывалось противным для бездействующего человека потом. В мучениях искал я равенства между собой и миром. Местами искусственно, местами полуобманно и натужно выстраивались в моей голове громадные теоретические здания с поразительной быстротой и памятьливостью изучаемые от фундамента до флюгера придирчивым взглядом внутреннего критика. Их мнимой устойчивости и мощи хватало ненадолго (от трёх секунд до получаса). Стоило дать слабину – чуть вьедливее посмотреть на кладку, ещё раз обойти подозрительно стройную колонну – и всё тотчас приходило в разрушительное волнение. Из обломков я слагал нечто новое и заведомо обречённое. Так ежедневно на пределе данных природой сил работал мой разум, но дух не желал селиться в его созданиях и они гибли, гибли, гибли ... до самых предутренних сумерек.

Случалось, что, проснувшись, я долго решал: вставать мне с постели или нет. Вдруг – думал я – это спокойное лежание перерастёт в душевное спокойствие и таким образом придёт полное выздоровление. Надо только очень смиренно лежать, не думая, но воображая ... Но промысел абсурда брал своё и кошмар возвращался.

В один из первых дней августа мне сделалось совсем дурно. Воля подводила. Зашёл Фёдор и принялся сорить подробностями конфликта, произошедшего между доярками из Д. Я не слушал его. Он заметил и замолчал.

– Фёдор, пожалуйста, принеси мне водки.

– Совсем прижало что ли?

– Да. Боюсь, не вытерплю до вечера. Пойду в Удруссе топиться.

– Я те пойду! Сроду в Удруссе никто не гиб. А ты срамить вздумал. Эх, дурьё ... Мааетесь-неприкаетесь. Больно много свободы вам дадено – вот вы и хилософствуете.

– Нет правды на земле.

– Чаво?

– Водки, Фёдор, водки ...

– Водки ему. Экий барин. Сам сходи. Хоть разомнёшься да людям покажешься, – потечески ворчал Фёдор.

– Нет сил.

– Эххх ... хо-хо-хоой ... дааа...

Мы сидели у кухонного окна с видом на старый, поросший крапивой и дикой вишней, сад. Фёдор говорил что-то пьяное и простое. В небе появились изогнутые молочно-

свинцового цвета спирали. Они то скручивались в толстую нуклеидную нить, то расплзались в зыбкие пятна. По кронам дёрнул ветряной шквал и в тот же миг из сотен невидимых форсунок брызнули острые капли дождя. Залепетали, заблестели листья яблонь и вишен. Прижались к земле матерчатые уши исполинских лопухов. Видимая нам сквозь дождь часть небосвода заискрилась трещинами близких молний. Без предисловий дождь сменился хлётским градом и лопуховые уши покрылись неровными тёрчатыми дырками.

– Фёдор, скажи, а зачем ты пьёшь?

– Хм ... От привычки и для сердечности.

– Как же ты это увязываешь?

– Так и увязываю. Люди нынешние никуда против давешних не годятся. Вот хоть и мужиков взять. Закодировались наши хлопчики и на полмужика мене стало ...

– Но чем хороша болезнь?

– Болезнь болезнью, а и душа вместе с ней ушла. Стал мужик жадён и злоблив. Широта в ём пропала. Всё телевизор – оттуда дури нахваталась.

– А раньше правильные были, – язвительно вставил я.

– Смейся ... Всяки были.

Громыкнуло близко и сильно. Оконные стёкла отозвались звонким дребезжанием.

– Ну, батюшка, пошёмал я домой.

– Фёдор, пережди грозу.

– И, милой, чего от написанного бегать. Бывай.

Алкоголь слегка притупил бдительность хаоса. Появились видения. Пришла Лиза с заплаканным лицом и укором в глазах, привела с собой Лазареву в ореоле двусмысленности. Я видел офис и наших модных хлопотуний с шоколадными пальчиками; в дверь вошёл директор и мина нерешённой проблемы на его лице. Как из небытия вынырнул навязчивый Коцак, но тут же растаял, уступив место стоически печальному Зоту. Мне хотелось поговорить с Андреем, спросить о Диане. Он же прятал лицо, отворачивался, судорожно одёргивал края тельняшки. Полыхнул красный платок и всё рассыпалось...

Проснулся я ещё до восхода солнца, не имея сил оторвать голову от подушки. Стоячий воздух вместе с органическим порханием пыли, пахшей чем-то глубоко вчерашним, мутил дыхание. Хотелось пить. Мерещилось прохладное солёное море, готовое вылечить меня одним мановением волны. Голова болела также пронзительно и дико как в дни отвязного студенчества. Мысленно преодолев физическую слабость, я резко поднялся. На мгновение захотелось умереть, прыгнуть с рвотных качелей, исчезнуть ... А надо было (откуда я это так верно знал?) покориться жизни. Окропленный колодезной водой, я вышел на улицу.

Одевшийся в зелень останок тополя поблёскивал влажной корой, играя вольными отражениями с белёсым росяным покровом. Бледнела луна, а на востоке небо исполнилось ясностью близкого восхода. За кособокой, висящей на рыжих петлях, штакетной изгородью притаились тихие джунгли сада. Дёрнув ржавый крючок, я ступил за ограду. С минуты на минуту должно было показаться солнце и природа, как опытный капельмейстер не давала оркестру зазвучать раньше времени.

Но сроки вышли ... На шевелюры яблонь и рябин, на кровлю дома, на сонный облачный барашек, на все видимые и невидимые глазу земные вершины, как обещало, не обманывая, плеснуло жаркой слепящей глаза охрой. И в продолжение, соблюдая высоту звучания и предустановленную последовательность партитуры, с южного конца Т. проголосил кочет. Его продублировали петухи соседней деревни, чьи голоса отразила и размножила река.

Всхлипнула напуганная цапля. С ветвей прибрежного ольшаника чёрным колеблющимся покрывалом сорвался грачиный молодняк, наполнив граем ближнюю и дальнюю заоколицу. Заскулила фёдорова собака, а затем и сам хозяин, громыхнув крылечной дверью и раскатисто кашлянув, вышел во двор бить «егозу». Из глубины сада выпорхнул смешной дрозд. Нисколько не смущаясь моего соседства, он принялся ловко обдирать гроздь рябиновых ягод. Вновь полыхнул красный платок, и над деревьями показалась искрящаяся медовая долька солнца. Я зажмурился.

«Правда. Где? Как удержать? Боль против мысли ... Так-так ... Вот оно. Или оно всегда было? Неужели так просто ... Листья, птицы, солнце ... Нет, это лишь здесь ... не возьмёшь с собой. А там другое. Всё провалится! Боль-то какая ... Здесь не умом надо ... Здесь надо не умом ... Откуда это? ... Ах, Зот ... Если б сбылось. (– Сбылось.) Сбылось отчасти ... (– Окончательно и всецело.) Но ты не можешь понять. (– Я был там, я могу.) И всё же, схема ... Нарисуй ... Объясни как пользоваться ... (– Схемы нет.) Ты врешь, Зот ... что-то обязательно есть. (– Есть.) Что это? Погоди ... Может и я ... Я ведь знал как правильно ... Скажи мне, прошлое ... Скажи хоть шёпотом. (– Оно в могиле.) Но оно мне снится, зовёт меня. (– Проказы памяти. Его нет. Ты – это снова Ты. Первый и последний раз. Каждый раз первый и последний.) Но чем жить? (– Настоящим.) Настоящим?! (– Всегда настоящим. Каждый день с самого начала. Учись у природы. Пойми её.) Да, но где же смысл ... (– Смысл в том, что жизнь равноценна везде и всюду. Учись у природы. Прощай.) Настоящее ... Смысл ... Везде и всюду... Прощай».

Не открывая глаз, я опустил на колени в сырую траву.

– Эть, Ать, Эва, – донеслось со стороны D. Фёдор перестал бить косу – видимо слушал. На мои закрытые веки хлынуло приятное солнечное тепло. Подул ветерок и принёс с собой аромат зверобоя.

– Эть, Ать, Эва, – оглашали окрестности первобытные звуки. Минуту спустя зазвенели колокольчики. Раздалось мычание и тогда я догадался, что это пастух скликает деревенских коров на пастбище.

– Эть, Ать, Эва. Хватит бездействовать. Хватит просить милостыню у судьбы. Хватит делать вид, что живёшь, – говорило мне это нехитрое утреннее заклинание.

«Ехать. Завтра же. Без запятых. И пусть должное свершится безупречно» – прокричал внутри меня выздоравливающий разум.

Приходилось ли вам слушать бафометовы песни, жить в эпоху всеобщего скепсиса, стоять на историческом распутье? Нет. Тогда вы совсем не знаете себя. Да. Тогда вы один из многих несчастных счастливых, которым больше нечего приобретать и терять, а все нижеследующие рассуждения должны волновать вас настолько, насколько змею волнует судьба её старой сброшенной кожи.

Эй, младенцы с первого ряда, вам ещё не наскучил этот предсказуемый, как итог старости, спектакль? Обернитесь на галёрку. Там слышен остроумный шёпот; там, кажется, зреет настоящий заговор. Как, вы не слышите! Ах – вот она причина – вы слишком приближены к сцене. Вы почти не чувствуете разницы. Вас заманили; вам пообещали роль в фарсе «Pozitiv». А ведаете ли вы, что таит в себе это легкомысленный весельчак?

Для начала знайте, что «Pozitiv» играют тогда, когда пропадает вера в чудо. Нет, речь не идёт о колдовстве отдельно взятого мага или, что ещё менее присуще нашей скромности, о таинственных жителях иных миров. Мы имеем в виду чудо самой жизни, которое

существовало и существует за границами нашей повседневной слепоты.

«Pozitiv» вне сцены (витрины, барной стойки, экрана TV) выжить не способен, ибо, споткнувшись о реальность, теряет всякую «позитивность» и мгновенно превращается в свой антипод. Это белозубое, идиотски улыбочное, повизгивающее от сытости животное, осыпая фронт фекалиями презрения, послушно пойдёт на очередную политическую бойню истории и лишь в финале, уткнувшись слабыми рогами в последний рубеж, достигнет (идиллический вариант) истинную ценность непрожитой им жизни.

Знайте же и то, ретивые англоманствующие неофиты, что «Pozitiv», как плохо задуманный фарс, мрачнее самой ужасной трагедии, ибо, пренебрегая крайностями, он учит равнодушию.

Ну а вы, те кто пытается говорить серьёзно в смешные времена, постарайтесь удержаться от всеобщего невесёлого смеха. Слывите чужаками, оставайтесь маргиналами, сомневайтесь... Только так и можно продолжать быть самим собой и продолжиться в Истории.

Начало века

Поезд тронулся после двухминутной стоянки. По вагону неслись зевки и посапывания. В этот ранний, насильно отобранный у ночи, час поезд вёз рабочий люд в город. Многие знали друг друга, заводили разговоры, совместно спасаясь от липнущего к лицу сна.

Я сел к окну и по ходу движения состава, но мне было не до ликований по поводу этой маленькой удачи. Всю мою, взбодрённую кофе и книжным бдением, натуру заполнила нетерпеливая сила. Она бежала в хвосте состава, упираясь плечом в последний курительный вагон; она сидела на спине локомотива, шутя раздувая серые остатки ночи; она бесилась и смеялась, вытягивая за кончик первого луча, едва пробудившееся, солнце из его восточной колыбели.

– Почта обходная! Газеты, журналы, кроссворды, детские журналы, мужское чтение ... Кто ещё не приобрёл – приобретаем. Желающим перечислю, – разорвал сонный полгол тонкий мужской голос.

Мой сосед, до нитки пропахший табаком и кочегаркой, улыбнулся в густые с белыми перелесками усы и по-детски любознательно принялся рассматривать большой палец левой руки. Рядом засмеялись. Послышался глубокий утробный зевок и кхеканье.

– Криминальчик имеется?

– В трёх вариантах.

– Давайте второй.

– Мне приусадебное чего-нибудь.

– На дачу, значит, путь держите?

– Ага ... Надо проверить кормилицу. Ведь обнесли поди, черти косматые.

– Ну-ну ... Это вполне может быть. Да вы «Зелёного лекаря» ещё полистайте.

– А есть что ли?

– Свежий, свежий ... Его женщины хорошо берут. Гляньте вот.

– Тэксс ... У Вали-то старый номер... Теперь уж я ей ... Обсчитай ка, дружок, обе.

– Подойдите, пожалуйста, – обратился я к озирающемуся профилю разносчика газет.

Он обернулся на плавном автомате, чиркнув костяшками правой, огруженной печатным массивом, руки по макушечным торчкам моего соседа. Тот вновь улыбнулся и сомкнул

крупные рабочие пальцы в пудовый волосатый замок.

– У вас есть Газета?

– Последняя?! Нет. Да и не продавал я её никогда. Не тот контингент обслуживаю.

– Эг ... кха ... м, – то ли чихнул, то ли крякнул мой сосед.

– Понял вас. Благодарю.

Разносчик дёрнул уголками рта вверх и едва заметно кивнул. Мне понравились его живые глаза цвета слабого купоросного раствора; его основательное сложение с гипертрофированной мускулатурой правой (всегда рабочей) руки. Заметил я и, специально скрываемую, виноватую неловкость его движений. «Детдомовец, инвалид, спившийся и выдворенный с позором муж, вор, тюрьмою исправленный? Какой ёмкий персонаж!».

– Да и не купите больше нигде, – добавил разносчик, обернувшись через плечо, – закрыли её недавно, совсем закрыли.

– Газету? Закрыли? Как?!

– Высшей волей подишто и закрыли. Как ещё-то.

Мой сосед в очередной раз улыбнулся в усы и покачал сам себе головой. Напротив, по диагонали от наших сидений, двое похожих меж собой рябовато-русых паренька пили, как объяснил запах, «самопальный» спирт из пластиковой бутылки с надписью «Колокольчик». Они быстро пьянели и смеялись, подзуживая друг друга.

– Уууть ... и до дна. Да закуси хоть хлебцем.

– Неа... Сам его жри. Облил чаем – вот и не суйся.

– Так с одного конца ведь только ... Херли делать теперь?

– Пей давай.

– Погоди хоть конфетину найду ... Еду не жравши.

– Я что ли ... Эй, Романовна, дай Вовке пару «коровок».

– По мордам вам обоим надо дать. Какие из вас сегодня работники. Ох, не видит тебя, Генка, мамка твоя ... Царство Небесное. Везде ведь за тебя, дурня, выбегала ...

– Подавись ты, сучья пасть!

– Тьфу на вас, гадюжье семя.

Сосед мой привычно сморщился в усы, кашлянул и неожиданно-негаданно протянул:

– Молодёжь ...

«Закрыли ... Мою Газету закрыли. Ну и что теперь? Покойся с миром свободное печатное пространство. Да здравствует торжество единообразия! Мы наш, мы новый ... А может по-другому здесь и не бывает? Интересно, что по этому поводу думают Вова с Генкой. Подойти прямо сейчас и спросить ... Эх, мечтатель. И всё же Её закрыли. Значит теперь каждый человек на счету, каждое слово под запись, каждую мысль на рассмотрение. Наше дело левое ... Диана, слышишь ли ты меня?».

Близилась санитарная зона. Народ предусмотрительно потянулся в туалетный тамбур. Примкнул к ситуативной очереди и мой сосед, а я прошёлся по вагону в противоположную сторону. Рядом с дверью дальнего тамбура, под мутным стеклом, висела «схема движения». Схема утверждала, что через несколько пустычных минут на нашем пути случится станция Просвет. И она действительно случилась. Поезд дёрнулся и жалобно ржанул нагруженным железом. Я интуитивно отыскал глазами окно. Краешек платформы, словно подножие заснеженной горы, едва проступал сквозь плотный занавес тумана. На полотне мелькали тени потенциальных пассажиров, слышались торопливые диалоги (такая кругом сделалась тишина). В этой тишине и тумане, в истеричных движениях теней за окном сквозило что-то

надреальное.

Мы ждали встречного. Вскоре он содрогнул тишину приветственным рёвом, подобно дикарю, завидевшему сородича. В придорожной рощице, казавшейся из-за тумана сказочным лесом, трижды проскрипел ворон. Возвращаясь на своё место, я столкнулся в проходе с щедедушной, облачённой в пёстрые засаленные лохмотья, старухой. Желтоватое лицо её столь густо покрывали разной глубины и длины морщины, что оно показалось мне маской, специально надетой для колдовского обряда. От старухи пахло застарелым потом и керосином. Мы благополучно разминулись, но тут я услышал из-за спины тихий (адресованный, пожалуй, мне одному) жамкающий голосок: « Сильно тебя жизнь держит. Много дано. И ты держись за неё через многое, через любовь к нему. От того многого и сам пожнёшь. Ступая в пропасть, жди под ногой тверди – всегда подадут. А когда иначе – тут и всему конец. Много увидишь да ещё больше сам сделаешь. Продыху для тебя не придумано. Помни, просить и роптать – дела последние. Живи так и само придёт».

Я резко крутанулся на пятках и встретился с пустотой.

– Следующая Дыбинск! – разметал застоявшийся воздух вагона голос проводницы.

– Сколько там стоим?

– Минут сорок. Эй, работнички, все ли проснулись?! Дыбинск. Дыбинск следующая!

Послышалась суэта и недовольные зевки. Кто-то очень смешно икнул. Рядом сказали:

– Господи, благослови.

– И здрасте ... А вот он и я. И здрасте, – пропел фальцетом, возникший из тумана вихлявый (в дырявом кожаном френче и с поэтическим галстуком на шее, оказавшемся большим носовым платком) балагур, хлопнув в широкие, как масленичные блины, ладоши. – Будьте добры ... А белый лебедь на ... Ой, рыжая, опять на сносях что ли? Смотри, никому не говори, что я им папа.

– Лебедь прилетел. Уже клюнул где-то.

– Он. Палоумный.

– Пенсию, видимо, получил.

– Видимо...

– Еле добрался ...весь этот туман ... будь он ... как снег лип (стукает по плечам ладонями, отряхивая призрачный снег). Товарищи, разрешите представиться ... Мама синяя ... Мама в фуражке, до Пережогина подвезёшь? Мама! Не мама?! Ну... А белый лебедь ...

– Да уймись ты, в конце концов, птичья душа.

– Приветствую и вас. У тебя жена бухгалтерша. Всё цифры, цифры ... А ты её обнуляешь в ночи. Что с тобой говорить. Я тебе спою лучше:

Шёл я лесом, видел чудо:

Чёрт под ёлочкой сидел.

У него глаза большие –

На ялде котёл кипел.

– А он женат ли?

– Куда ему. Просохнуть не успевает.

– Да, плохо мужику без причерёды ...

– Вот и причереди его.

Раздался женский смех в два голоса.

– Верка, слышь, я Тольку-то обженила.

– Удачно?

– Это посмотрим. Девочка, вроде, хорошая. И к дому, и к кошельку приучена ...

– Дай хоть пяточок ... или проклянну. На Руси подавать – божьих детушек спасать ...

Строгий ... Вижу ... Вижу да не боюсь. Пролетарии всех стран, не расслабляйтесь. Эх, Империя, куда ж ты делаешься? Я в платье новое переделалась! Даа...хн...

– Лебедь, давай спиртику с нами, – разом прогорланили Вова с Геной.

– А белый ле ... Затравить есть чем? Лук не предлагать ... Мама унюхает ... Тссс ...

Идёт.

– Не поите его. И так уж ... Заблюёт вагон. Вам не убирать, – протрубила, шедшая мимо, проводница.

Пареньки ехидно засмеялись. Гена протянул Лебедю чайную чашку (без ручки и с обколотыми краями).

– Боже, царя храни. Сильный, державный ... Эх, Империя ... А тебя, кривая губа, по этапу идти. Яахххрь... Отг жидкая резина ...

– Хлёбало завали.

– А белый ...

– Брат-то у него сгорел в собственной квартире.

– Давно?

– В девяностые ещё. Связался с многодетной распущёнкой и понеслось ...

– Понятное дело.

– Лебедь тогда киномехаником в клубе работал. В одежде франтил, бабам нравился ...

– Ясно.

– А как случилось с братцем ... Ну, кажись Дыбинск.

– Да ...

– Дыбинск! – в последний раз рывкнула из тамбура проводница.

– Мама синяя, не оставь меня, подвези меня ...

– Пойдём с нами, Лебедь. Грохнешь чайку в кандейке, продрыхнешься. Ну? – толкнул в костистое лебедево плечо Вова.

– Мне до ... в Пережогино мне ... Мама, кинь за так, а я в вагоне гадить не буду ... Каххм... А бе ...

– Выдумал. Нет и станции такой. Выводите его отсюда, пока милицию не позвала.

– Сама не знаешь ... У меня брат там живёт ... Пещерная женщина ... А...

Рабочие дружно освобождали вагоны, стягиваясь на углу вокзала в сплошной тёмный поток. Большинство мужчин сразу же закурило. Дым смешивался с остатками тумана, в прорывах которого всё очевиднее сквозил намёк на солнечный день. В хвосте потока плелись Вова с Геной и повисшим на их плечах Лебедем. Мне запомнилась лысина последнего, походившая очертания на африканский материк – как он показан в географическом атласе.

Я спрыгнул со ступенек на платформу и огляделся. Слева на полотне копошились оранжевые пятна ремонтной бригады; чуть правее румяная лотошница споро распродала сдобу, шаркая по асфальту большими чёрными сапогами. Пахло углём и свежими газетами, которые на моих глазах загружали в привокзальный киоск.

– У вас есть Газета?

– Не. Не завозим таких. А вы здешний?

– Как вам сказать ...

– Тогда как гостю, нате вот ... почитайте «Любимый город». Номер бесплатный, рекламный. Возьмите-возьмите! Куда мне их.

– Спасибо.

– Не на чем.

Сунув сомнительную прессу в широкий боковой карман саквояжа, я зашёл на дыбинский вокзал. Возникло желание выпить кофе и чего-нибудь перекусить. За пластиковым полем кресел зала ожидания виднелась транспарантная (в лучших традициях соцреализма) вывеска «БУФЕТ». Под ней – у крайнего, покрытого белой эмалью, столика, сгорбившись над кофейным стаканчиком, стоял одинокий, изошрённо одетый человек. Он, по всей видимости, хорошо сознавал свою изошрённость среди пять лет назад вышедших из моды кожаных курток, белых кашне и спортивных (почти горнолыжного фасона) штанов, беспрестанно снующих возле игровых автоматов и громко хлопающих тяжёлыми вокзальными дверьми. Да, здесь он был явно не к месту. Наверно поэтому я сразу узнал его.

– Здравствуйте, Валентин!

– О, привет..., – смущённо и несколько испуганно ответил он.

– Узнаю тебя, Валь, принимаю, и приветствую ...

– Да, ты в своём стиле ... Есенин.

– Стыдитесь, господин гуманитарий.

– А кто же тогда?

– Вот залезь в интернет и посмотри.

– Ладно..., – инфантильно улыбнулся он. – Ты как здесь очутился?

– Транзитно. А ты?

– У меня дела. Я теперь редактор автомобильного журнала. Вчера в Дыбинске проходила крутая московская выставка. Ну, сам понимаешь ... Пригласили.

Валентин аккуратно пригубил кофе и зачем-то потрогал пуговицу на своей жёлтой с фиолетовыми и зелёными пуговицами курточке.

– Пригласили ... Здорово. Я всегда ожидал от тебя чего-то такого.

– В смысле?

– Чего-то значительного, руководящего.

– Ну ... Да я ... Как сказать ... Так вот получилось, – как будто оправдываясь пролепетал Валентин.

Тут я вспомнил собственную студенческую шутку, озвученную на одной из внеочередных – второкурсного пошиба – пирушек: «В этом юноше зодиакальный Лев загрыз годичного Тигра и подавился его костями». Женская часть сообщества понимающе захихикала.

– Однозначно рад за тебя, – ляпнул я, подспудно представляя ту сильную руку, которая руководила делами Валечки Жуева и его новой бизнес-игрушки.

– Спасибо, – произнёс он с той же инфантильной улыбочкой и по старой привычке дёрнул себя за верхнюю губу.

– А ты, если не секрет, где тусуешься?

– Тусовался. Возился с сайтом в одной малогабаритной фирмочке ... Впрочем, теперь это совсем не важно. Не важно в принципе.

На этом месте наш разговор навсегда распрощался с динамикой начала. Я взял себе кофе и холодную (но от того не менее аппетитную) булку. Слегка надоевший обмен вокзальными наблюдениями наконец-то прервал скрипучий громкоговоритель, объявивший,

что мой поезд очень скоро будем отправляться от платформы ...

– Ты со мной?

– Нет. Я предпочитаю автобус. У меня, конечно, и автомобиль есть, но ... так случилось

...

– Верю. И всё же подумай о природе.

– О природе?

– Да, о ней. О той, что будет сопровождать нас до самого города. Смотри, как подготовилось для этого путешествия солнце, – я показал на огромные вокзальные окна. – Надо ценить, надо постараться совпасть и тогда ...

– Извини, но я дождусь автобуса. We often even do not know what we want [5].

Пожалуй. Но лично мне сегодня лень сомневаться. Adieu [6]!

Подожди ... Возьми мою визитку, чтобы ... Ну, просто пусть будет и у тебя. Я всем раздаю, а то ...

Мне показалось, что он хочет поговорить со мной, но ему мешают какие-то глубокие предрассудки, какая-то, всеми силами скрываемая, неуверенность в себе и своём праве на иную жизнь.

– Спасибо. И всё же, Валь, ты можешь прямо сейчас ...

– Что могу? – в голосе Жуева страх и надежда прозвучали одновременно.

– Ты и сам знаешь ... Смешно ... Скажи лучше, зачем людям обязательно нужна чья-то подсказка?

– Я?!

– Ты... Пойми, я не требую от тебя философской лжи. Она дурманит, как дешёвое вино, поданное в красивой бутылке. Вспомни, как жадно мы пили её и как нас щедро потчевали ей от учебных аудиторий до богемных кабачков.

– Ты считаешь – нам просто пудрили мозги?

– И нам это нравилось.

– Нда ... Но, Вадим, ты всегда относился с подозрением к каждому новому слову.

– О, Валентин, не ошибайся на мой счёт. Тогда я верил каждому междометию.

– Твой поезд сейчас отойдёт...

– Может быть – наш поезд. Едем. Поверь, это маленькое путешествие способно многое поменять.

– Мне, собственно, нечего менять ...

Он проводил меня до платформы и на прощание подал свою расслабленную влажную руку. Проводница грохнула дверью тамбура. Поезд тут же тронулся. Я быстро зашёл в вагон, открыл тугую форточку крайнего окна и посмотрел против движения состава. Ссутулившийся Жуев стоял на прежнем месте и курил, теребя свободной рукой пуговицу умопомрачительно модной курточки.

Я сел на первое подвернувшееся сиденье, рядом с престарелой дамой в очках, державшей у самого носа затасканную бульварную книжонку.

– Ой. Да. Приветтики. Ага ... Уже отъехала.

.....
– Нормально. Журнал буду листать. В автобусе мест не было. Нет, ты прикинь.

.....
– Скукотища полная. Если бы не аська и телевизор, я бы вообще...

.....

– Да, завтра на работу. Рустамчика увижу. Прикинь.

.....
– Он? Прикол? Нет, Рустамчик – зая. Эдик рядом не стоял.

.....
– Времени, блин, нету совсем. После работы хочется, знаешь, тупого релакса, а он на дискотеку, в кино тащит. Он так может со своими детскими два через два ... Вот Рустамчик другой. Мы с ним в Черногорие полетим ...

От этой глупой телефонной болтовни, транслируемой с задних кресел, мне стало как-то особенно весело и бодро. Я энергично мотнул головой. За кожаным подзатыльником меня встретили две кристальных неморгающих синевы. Эльфийского вида девушка с диетической худобой, с размытой (одеждой, косметикой, патиной автозагара) национальностью казалась несколько старше своего природного возраста. Её обманчивый образ дразнил реальность, бесстыдно подчёркнутым во всех деталях, вымыслом. И только телефонные реплики, адресованные такой же, как она, виртуальной подруге, с грехом пополам заземляли её гиперборейскую суть.

Меня разрывало от восторга и я с большим трудом, удерживая чувственный поток в дельте бронхов, разверзся идиотской улыбкой. Божество не реагировало, но я был счастлив. Счастлив от собственной догадки и её немедленного подтверждения. Радостная сила, проявившаяся во мне благодаря сельским метаморфозам, одержимо желала излиться вовне. Она требовала деяния. Я встал. И даже не встал, а упруго скатапультировал в проход, зацепив на лету кожаную ручку саквояжа.

Солнце затопило вагон густым лимонным нектаром. Люди шурились и смеялись. То ближе, то дальше по течению моего пути сами собой вспыхивали дорожные разговоры. В пропитанном теплом и светом движущемся пространстве, помимо известных физических величин, на моих глазах рождалась новая, научно не доказуемая, но духовно очевидная величина Человеческой Близости. Я шёл и видел (точнее – прозревал) повсеместное освобождение от пут одиночества. Люди, словно очнувшись после долгого насильственного гипноза, потянулись друг к другу взглядами, сердцами, телесными жестами ... Я шёл сквозь эти живые ряды – из вагона в вагон, от тамбура к тамбуру – искренним вестником свершающегося преобразования.

В одном из тамбуров стояло несколько человек – мужчины и женщины. По всей видимости, они готовились сойти на ближайшей станции. Брезентовые плащи, скрученные на манер шинелей в плотные кули, а также рюкзаки и старая, но аккуратная одежда выдавали их как заядлых дачников. Мужчины курили, заполняя паузы шутивными небылицами из прожитого. Женщины попеременно поднимали семейно-хозяйственную проблематику, не забывая слегка кокетничать с мужьями подруг и незнакомцами. Я невольно остановился среди них и простоял так до самой станции, испытывая стихийную любовь ко всем этим, доселе неизвестным мне, людям.

– Отойдите в сторонку, молодой человек, – по-птичьему гикнула проводница. – Билетик уже показывали?

– Нет, ещё не успел. Впрочем, вот он ...

– Так. Ладно. Вижу, вижу ... До конечной ... Ну ещё бы. Ясенько всё с вами.

– Спасибо вам. Самое большое на свете спасибо!

– Это зачем же? Это вы шутите так?

– Как бы мне вам получше объяснить ... Я просто ... Я, представьте себе, только теперь

стал понимать как всё вокруг, и во мне, и в вас чудесно устроено. Ничто не живёт по отдельности. Всё слито, связано и проникнуто ожиданием встречи, неминуемой – такой вот как наша с вами. И ещё я понял, что пути наши проложены заранее, а мы лишь каждодневно угадываем их среди множества прочих.

Проводница недоверчиво и несколько смущённо посмотрела на меня снизу вверх.

– Ведь нормальный с виду молодой человек. И образование чувствуется. Ну не пейте вы эту эмульсию вокзальную. Терпите до города. А то дорвутся ... И что за манера такая.

Вздыхая и скорбно качая головой, она скрылась за зелёной дверью соседнего, пройденного мной, вагона. Я простоял в тамбуре ещё целых три станции, встречая и провожая незнакомых людей. Мне страстно хотелось и им рассказать о духовно важном, как мне казалось, открытии. Но я сдерживался и только тщательно запоминал обильно сыплющиеся в эфир свежие мысли.

Несвойственным для меня вымороченным движением открыл я дверь следующего вагона, сделал несколько бесцельных шагов, рассеяно шаркая взглядом по левому ряду кресел, потом случайно перекинул взгляд направо и ... застыл на месте изумлённым Офтердингеном, узревшим перед собой сиящую красоту голубого цветка.

«Её одиночество у окна с книгой, изящно поднятой на уровень груди. Её не показное, но скорее показательное достоинство. Её деловитая собранность в сочетании с лёгкостью достижения последней. Стиль её неподвижности, ничего общего не имеющий с имиджевой позой. Её зачарованное очарование. Всё это Её. И всё это Она».

– Позвольте прервать ваше уединение.

– Не смею мешать вам ... Вадим?!

– Мы с тобой незнакомы из нежной корысти ...

– Не полгода, а каждый по тысяче лет.

– Всё-таки помнишь.

– И всегда буду ... Как вы с ним читали тогда в общажном коридоре, разбив последнюю, едва мерцавшую, лампочку! Здравствуй.

– Было неуклюже, но искренне. Здравствуй, Диана.

– А ты сильно похудел ... Только глаза живые. Как прежде живые глаза.

– Почему ты не нашла меня?

– Не нашла ... Ну... Так сложилось ... Была житейская беготня, и репетиции, и лето ...

Да ты и сам мог.

– Мог ... Нет, не мог. Я ждал встречи – случайной и почти невозможной.

– Чудак. А если бы она никогда ...

– Обязательно произошла бы. Я после этого лета понял, что в жизни человека есть вещи неотвратимые.

Диана опустила книгу текстом вниз на обтянутые золотистыми чулками колени.

– Ты всё дизайнерствуешь?

– Уже нет. С этим покончено отныне и до скончания моих времён.

– Прозвучало как заклинание.

– Вся наша речь состоит из заклинаний.

Глаза Дианы блеснули наивным удивлением. Я не сводил с неё своих. Испытав обоюдную неловкость, мы одновременно посмотрели в окно. Вдоль полотна тянулись бесконечные нити телефонных проводов, разбитые на отрезки белыми головками диэлектрика, росшими на скрюченной металлической ножке из тёмной древесной плоти

столбов. За ними длился с виду однородный, а на самом деле предельно смешанный лесной фон, накрытый италийской голубизны небесной мантией.

– Я думала о тебе ... Нет – даже больше – я думала о той майской встрече на границе миров, – стыдливо, словно преодолевая данный кому-то обет молчания, произнесла Диана, не отрываясь от наблюдения за бегущим пейзажем. Вместо неё с обложки книги на меня глядел портрет викторианской барышни, претендующей на известное сходство с героиней известного романа Фаулза, который и читала моя красавица.

– Ты снилась мне.

– Правда?

– Более чем. Мне кажется, что я таким образом удерживал тебя в своей орбите.

Мысленно не отпускал, а значит и не расставался с тобой по-настоящему.

– Похоже на волшебство.

– Откуда эта неуверенность голоса?

– Так, поза ... Спонтанное притворство. Мы ведь не можем без ужимок. Всё чего-нибудь да изображаем. Одним словом, ты – дизайнер, я – актриса ...

– Ты изменилась. Расскажи о своём лете.

– Там мало ... Ой, смотри, какой интересный старичок! Смотри же ...

В это время поезд тихонько притормозил возле станции Бороздино. У высокой станционной избы, опершись на лопату, стоял и глядел в сторону поезда ладного края старец. Не залюбоваться им мог, пожалуй, только безнадёжно слепой. Хлопковая седина головы и, усеянной крупными завитушками, бороды преобразали в нём черты ветхозаветного пророка. Просторная льняная рубаша, схваченная по талии пенькой, доходила до колен пегих, истёртых повседневной ноской, галифе. Ноги покоились в грубых кирзовых сапогах, а на груди неярко поблёскивал оловянный кружок медали.

– Ах, как жалко!

– Чего именно?

– Это закономерность, понимаешь. Надо быть готовой. Всегда. Какой старик!

– Замечательный старик.

– Нет, Вадим. Это для тебя он просто замечательный старик.

– А для тебя?

– Шедевр без всякого фотошопа.

– Ха-ха ... Понятно ... Ну так давай сфотографируем его для нашей общей памяти.

Она круто обернулась. Книга вспорхнула с её золотистых колен и смертельно раненой птицей шмякнулась под соседнее сиденье.

– Зачем ты смеёшься. Я знаю, что могло бы получиться.

Вместо ответа я обнял её, взял за кисти и заставил её пальцы ухватить невидимый корпус фотокамеры. Она приняла игру.

– Я буду целиться, а ты щёлкай как ...

– Повинуюсь тебе, Диана, – ответил я, дурея от аромата её волос.

– Прощай, мой не случившийся шедевр.

– Прощай, Бороздино.

– Вадим, а ведь это и правда совсем необычный дедушка. Мне страшно представить, сколько за свою жизнь он встретил и проводил поездов.

– Ему должно быть лет ...

– Слушай, да он явился к нам прямо из позапрошлого столетия. В нашем таких уж точно

не будет.

– Будут.

– А если и будут, то с дредами, мелированной бородкой, рожицей Че Гевары на майке и косячком во рту.

– Ты пугаешь меня.

– Не бойся – это не моё. Я позаимствовала это у одного ...

– ... из персонажей пьесы?

– Жизни.

– Твоей?

– Возможно ...

– Диана, что случилось этим летом?

– Случилась жара. Ты ведь застал её? Тополиная вата на ресницах, сухие губы, желание поселиться на пляже ... Мы гримасничали из последних сил. Наш рассудительный пузатенький Аполлон превратился в стихийного Ярилу. Он срывался и наказывал нас бесчисленными повторами. Подчас мне казалось, что я доигралась в себе до мужества плюнуть на его волосатое, лезущее из под рубашки, пузо, прыгнуть со сцены и затеряться в июле. Но я держалась. Я представила жару и режиссёра в виде библейских испытаний, а противостояние им приравняла к подвигу. Ещё случились гастроли и два фотокросса. И всякие мелочи – типа самостоятельного изучения испанского. Из примечательного всё. Фуу... Теперь я хочу курить. У тебя есть?

– К сожалению ...

– Тогда идём в тамбур. Там обязательно кто-нибудь сейчас курит.

– Или пьёт.

– В России где пьют, там обычно и курят. Пойдёшь со мной?

Утвердительно опустив веки, я двинулся первым. Через пару шагов моё плечо ощутило лёгкость её руки.

– Молодой человек, поделитесь со мной дымом, – обратилась Диана к угрюмому старшекласснику.

– Ментов поблизости не видели?

– Нет. А вы что – скрываетесь от правосудия?

Старшеклассник снисходительно улыбнулся и указующе мотнул головой куда-то вверх.

– No smoking, – нарочито шепеляво озвучила Диана запретительную надпись. – Вадим, открой дверь. В случае опасности я прыгну за борт. Надеюсь, ты последуешь за мной? – обратилась она ко мне, элегантно прикуривая лёгкий «Честер», казавшийся в её губах произведением искусства.

– Безусловно. Только прежде я постараюсь спасти тебя ... Хотя бы и на самом краю пропасти.

Пространство тамбура охватила немая торжественность, подчёркнутая оркестровкой вагонного железа. Диана пристально смотрела на меня сквозь дым. Почуввав смысл мизансцены, старшеклассник поспешил удалиться.

– Лето убегает ...

– Нет, это мы пытаемся убежать от него.

– Поезд не остановить ...

– Но всегда можно выйти на ближайшем полустанке.

– Я уже выходила однажды.

– Я тоже ...

– Вадим, чем ты займёшься теперь? Я чувствую созревшую в тебе решимость. Мне радостно за тебя и – если совсем честно – страшно.

– Для начала подкорректирую реноме.

– Вправо или влево?

– Диана, ты слышала о закрытии Газеты? Пожалуй, последней стоящей газеты нашего времени.

– Так ты глотатель пустот... Вот новость для меня!

– Скорее уж истребитель пробелов.

– Последний из поколения.

– Один из немногих ...

– Авторитет наших газет, Вадим, близок к авторитету дворовых бабок.

– Извини, но ты слишком далека от ...

– Возможно ... Только мне не нужно заглядывать в газеты, чтобы узнать какое время на дворе. Достаточно просто выйти на улицу и посмотреть в глаза людей.

– И о чём говорят эти глаза?

– Они настороженно равнодушны, Вадим.

– Быть может, пришла пора для серьёзной борьбы?!

– Значит влево ... как Зотов.

– Пример Зота не наука, но он честный борец. Борец с подсказанной самой жизнью идеей.

– Идеи, большие цели ... Мужчины любят прикрывать пафосом слов тягу к насилию. И знаешь почему? Многие из них не умеют жить нормально – здесь и сейчас. Они боятся жизни, как боятся строптивой женщины. Не выдержав, они убегают от неё и, убегая, мстят.

– Ты права лишь наполовину. На свою активную женскую половину, душа моя.

– Так-так, ну и какое оправдание приготовил анимус?

– Анимусу незачем оправдываться.

– Пусть мой меч скажет за меня. Не правда ли?

– Единственная моя правда сейчас в том, что я люблю тебя....

Мы стояли на перроне главного вокзала города. От солнечного дня не осталось и намёка. Занялся редкий докучливый дождик. Диана стрельнула сигарету у таксиста-зазывалы и теперь медленно курила, скользя рассеянным взглядом по темнеющему асфальту. Я держался за её плечо.

– Этой осенью я уеду из города.

– Далекое?

– Далекое и безвозвратно. Ты смеёшься ...

– У меня с детства так. Я так сомневаюсь.

– Сомневаешься. Значит, не веришь мне?

– Тебе верю, а твоему раскладу не очень.

– Тогда объясни ... А впрочем, я уже обещала.

– Наши пути пересекались?

– С ним?! ... Возможно. Даже скорее всего ... Наш город умеет сблизать людей. Прогуливаясь по центру в выходной, обязательно встретишь пару-тройку знакомых мордашек.

– А ещё жители этого славного города большие артисты. Они ловко разыгрывают

веселье, но лучше всего на их лицах сидит маска грусти.

– Ты хочешь видеть мою весёлость?

– Буду признателен.

– Тогда я подарю тебе прощальный танец Хлои.

– Изумительно. Правда, у Лонга всё оканчивается свадебной мистерией.

– Наш режиссёр слишком современен для пасторального наива.

– Он женат?

– Двадцать семь лет. Двадцать из которых, по его же собственным словам, является последовательным женоненавистником... Но он профессионал и это спасает ситуацию.

Её сигарета плюхнулась на асфальт и зашипела. Дождь усилился. Редкие люди пересекали перрон в разных направлениях. Грузный дворник в потёртой спецовке громыхал переполненной урной, чертыхаясь на лопнувший по шву мусорный мешок. Раздался молодецкий смех, но тут же захлебнулся в дребезжащем кашле. В размытой дали сипнул локомотив, потом ещё ... и ещё раз.

Я не заметил, как она начала танцевать. Тихо выскользнув из под моей руки, словно пресытившаяся ласками любовница, она расходилась кругами по воде и трепетала огненным пёрышком свечи, вилась лозою и окаменевала статуэткой античной подлинности, предлагала себя и, в тоже время, оставалась абсолютно неприступной. Танцевала не Диана. Мне представилось, что в эти гибкие формы облеклась сама идея нового столетия, раскрывающая в движениях (быстрых, но точных) его драматический замысел.

Люди, забывая про дождь, останавливались и смотрели на неё. Она же, казалось, не видела никого.

– Зачем ты остановил меня? Зачем увёл?

– Я подумал, что ты не выдержишь.

– Глупости. Я уже другая. Не та слезливая декаденточка с филфака, которой ты из самолюбования отпускал поэтические остроты: « сия черкотина пустая лишь отражение того ... ». Помнишь?

– Ещё тогда, у Андрея, я хотел поговорить с тобой о нашей первой, как говорили раньше, молодости, но ты уехала ... Вру ... У меня просто не получилось сказать первого нужного слова.

– Может и сейчас не стоит?

– Диана ...

– Вадим, прости. Эта реплика из прошлого не имеет ничего общего с моим отношением к тебе. Мне холодно. Возьму такси.

– Не убегай так скоро. Заглянем в кафе?

– Я сделала свой выбор, Вадим. Он ждёт ...

– Кто же он?

– Если бы знать ... Прощай.

Я остался один на жёлтой парковой скамейке с массивными чугунными ножками в виде львиных лап. Огибая клумбу, Диана тряхнула влажными рыжими прядями и меня мгновенно укололо воспоминание о Лизе – сколь милой, столь и далёкой теперь.

– Постой, Диана, – крикнул я уже набегу.

Она услышала и остановилась.

– Телефон ... Твой номер ... Я запишу...

– Очень скоро я всё сменю. Я ведь уеду в другую жизнь.

– Ты не уедешь.

– Записывай скорее. Я действительно тороплюсь.

Она продиктовала мне одиннадцать обычных цифр, означавших для меня чуть ли не шифр её души, а девятка в конце почему-то вселяла надежду на нашу скорую встречу. Мы дождались такси и, сажая Диану на задние сиденья, я успел коснуться губами её прохладного (с крестовинкой бирюзовых жилок) запястья ... Через несколько секунд она уехала, оставив на рукаве моей куртки две медные ниточки волос.

Город встречал моё появление приготовленным загодя ритуалом. На трамвайной остановке, безыскусно сложенной из силикатных кирпичей (ночном приюте бродячего люда) меня добросовестно обнюхал чёрный, неопределённой породы, собачий нос. Со стороны кленово-ясеневых прогалов в полтора окна посматривал купеческий особнячок: вздыхал и кланялся, кланялся и вздыхал.

«Оказаться под присмотром целого города! Неужели ему всё ещё интересен человек, постыдно бежавший милости этих реликтовых домов, улиц, площадей? Как много значительного, летописно великого легло на его чело задолго до меня. Зачем я нужен ему? Чего он ждёт, оборачиваясь любопытным прохожим или наблюдая за мной голубиным оком с классического фронтона?».

Трамвай плавно замедлил движение и я вышел на знакомой свежевыкрашенной остановке. Зайдя в квартиру, я тут же ощутил степень её одиночества. Тяжёлый застоявшийся воздух, словно неприветливый хозяин, рад был как можно дольше держать меня у порога. Я приоткрыл оконную секцию, нарушив тишину звуками вечернего полиса. Через час я мысленно обнаружил себя на шведском диване в компании «Любимого города». С первых же реплик и фотографий понял я, что за прелесть мне подсунули. Героями номера были четверо насильников, надругавшихся над девочкой-подростком. Самоуверенная журналистка, тщетно стараясь показать животную мерзость ситуации (работайте над стилем, дамы и господа!), написала сентиментальное приключение с позитивно-романтическим финалом: жертва становится директором московской фирмы V. На первой странице разворота святой отец тридцати четырёх лет от роду с тату-портретом кумира на розовой шее рассказывал, как поменял косуху на рясу, а байк на ортодоксальную «Ладу» десятой модели. На второй – прошлогодний выпускник психфака давал советы женщинам по охмурению богатеньким холостяков. Муарная шатенка на плохо сделанном рекламном фото, небрежно прикрывающая грудь газовой тканью, символизировала «Уют в вашем доме».

Газета переливалась улыбками простых дыбинцев, которые делились с миром впечатлениями от южного отдыха, кулинарными рецептами, народными средствами против геморроя. «Теперь банкир Гламазеев собирается ехать за очередной пивной кружкой в Индию» – последнее, что мелькнуло перед моими, пленёнными сном, глазами.

Пробудился я только на следующий день. «Любимый город», перетасованный и помятый, валялся на полу. Сразу вставать не хотелось. Глаза то открывались, то закрывались, но мозг уже анализировал тончайшие отзвуки уличной жизни. И тут, как в старом наивном фильме ушедшего века, ожил домашний телефон. Покрытый тонкой пыльной плёнкой он разразился непривычным для сросшегося с тишиной пространства электронным звоном. Я подумал: перележу. Прошла целая минута, прежде чем мне стало ясно, что имярек знает о моём приезде.

– Здравствуй, мистер Гарольд, – почти прокричал Станислав Коцак в трубку, и мне

сразу захотелось убежать от этого голоса в охваченную лихорадкой бунта Элладу.

– Неужели и у стен моей квартиры твои уши?

– Никакого расчёта, дружок – одна интуиция.

– Представь себе, Коцак, иногда я напрочь забываю о твоём существовании, а случается, что и не верю в него.

– С детством нужно вовремя расставаться, Вадим.

– Перестань... Я знаю цену твоей философии.

– Раньше она вполне тебя устраивала...

– Я делал вид, потому как не имел своей.

– Ожидаемо, ожидаемо... Путешествия таким впечатлительным натурам приносят одни разочарования.

– Ты перепутал меня с кем-то.

– Разве?! Может быть я ошибся и номером твоего дома, и подъездом?

– Зачем ты приехал?

– Говорить... серьёзно и, возможно, в последний раз. Спускайся. Я буду ждать в машине.

Ответить я не успел, расстроился, на мгновение забыв о свойственной ему манере общения с миром. Впрочем, встреча эта должна была когда-то случиться и, тайно, я много раз думал о ней... Передняя дверь бесшумно отделилась от тёмно-синего автомобиля марки «Opel», задев по пути молодой куст жёлтой акации.

– Флористый у тебя двор. Да, если бы каждый в этой унылой стране начал с себя, со своего двора... Пристегнись.

– Поговорим здесь. Нет у меня желания болтаться в пробках ради нескольких прощальных слов.

– Хм... Допустим... Тогда я настоятельно прошу тебя...

– Постой, Станислав, скажи – для меня это очень важно сейчас – как сложилось у Лазаревой?

– По-дурацки. После чудесного, иначе не объяснишь, выздоровления она собралась похоронить себя в детском доме. Во имя чего этот срыв? С её семейными возможностями, положением, с её прекрасной молодостью... Я убеждал её, но поздно – там случилась химическая реакция. Девочка с большими обещаниями превратилась в жалкую народovolку. А ведь мы с ней по-другому задумывали нашу жизнь.

– Вашу жизнь?! Какой же редкий ты лицемер. Ты столько наврал мне о ней, столько мистифицировал... Теперь я буду делить всё сказанное тобою на два, нет – на три.

– Делить ничего не нужно. Я уезжаю... Рената была не той – не двенадцатой. Теперь я с Дианой и нас очень скоро не будет в этом городе. Теперь всем нам будет проще жить на одной земле.

Кровь ошпарила голову изнутри. Сонм полувероятных случайностей стал телом огромного, как скала, факта. Коцак же смотрел поверх руля и напряжённо молчал. Слова... Их копилось всё больше...

– Видишь ли, она мне предсказана, – не выдержал Коцак, – только она двенадцатая может сделать меня счастливым. Она ещё не до конца понимает свою избранность, но я помогу, я научу её понимать себя и меня.

Он вытащил из бардачка декоративно изогнутую фляжку и сделал несколько сильных глотков.

– Вадим, сверни чуть-чуть в сторону, обойди наше счастье. Ведь ты, я знаю, хочешь его для Дианы. Она уже страдала от поэтических обещаний, а я дам ей возможность играть. Тебе тоже надо поверить – вместе с нами...

Коцак бубнил словно шаман, не переставая смотреть поверх руля на кирпичную, облицованную розовой краской, стену соседнего дома, как будто и её хотел убедить в том, чему сам верил при помощи виски. Наконец мне надоело слушать этот пьяный миф и специально заморозив голос, я громко сказал:

– На твоей части неба впервые зажглась такая звезда, но знай – ей будет жутко одиноко там под твоим презрительным и назойливым взглядом.

Ты кому-то или чему-то предназначен, а Ты обещана. И как прекрасно бесполезное/необходимое терзание: кому? чему? У иных вся жизнь в дательном падеже или – того хуже – в винительном. Смейтесь над ними. Сочувствуйте им. Вам от рождения позволена любая роскошь – даже та, которая нищета. Даже несчастье Ваше с позолотой; «из грязи в князи» – тоже о Вас.

Ты, как правило, начинаешь с обморока, а Она в это мгновение восторженно и боязливо зрит тебя из под руки Саваофа: Он ли? Узнает ли?

Узнает. Есть два неперемных условия для судеб равных Вашим. Ты должен заслужить её, Она – дожидаться. Прочие обывательски торопят события. Они отростки, зависящие от корня и рода. Природа бросает их друг на друга, свивает намертво, чтобы не сгнили поодиночке.

Вы не зависите от растительных предрассудков. Вам повезло. Вам позволено жить на земле с апломбом первого раза. Вам должно падать, напарываться на всё подряд и, сгорая на жертвенных кострах, сорить любовью к сжигателям. Ибо смысл не в безупречности жизни, но в её каждодневной красоте.

Незаметно из моего земного бытования вычли ещё три дня. Официальное увольнение с работы прошло в дружеской атмосфере укоров и притязаний. Я выдержал и жалел лишь о том, что не встретил Лизу, узнав от офисных сплетниц о её разводе. Помимо того пришлось звонить, договариваться, встречаться...

И был вечер, и усталое возвращение по одной из старых улиц, и выход на Театральную площадь, и народное наводнение на ней.

Сколько же их сплотилось тут?! По одному, днём они пугливыми стрижами проносились сквозь городскую жизнь, предпочитая навязчивому роению центра угрюмую тишину окраин. Здесь же их будничная тревожность и поколенческая дальность растворились в силе голосовой претензии, в стихийном братании и алкогольном заговоре. Стоя в пятнистом оцеплении, они наливались чем-то значительным: минуты, когда слово молниеносно становится делом – заранее последним.

Над выпуклой чешуёй стеснения, над разбойничьей бритостью и маргинальной косматостью вырос девичий профиль с громкоговорителем: «...снитесь...мы с ва...жи... овом...лети...надо ...ять, что ... шло время, наше с ва...емя». Она вещала слишком далеко от меня. Кто-то удерживал худенькую сивиллу на сильных плечах и в этом заключалась трогательная детскость её положения.

Почти беспрерывно озлобленно выли автомобили, сбитые с пути небывалым дорожным знаком. Повстанческое море исходило крупной предштормовой рябью, нахально испытывая

прочность пятнистого мола. Внутри него всё зудело и вихрилось, шипело и вздрагивало, испуганное быстротой вольного движения.

Я несколько раз набрал номер Зота: он молчал. Вслед за настырным оператором одного из либеральных каналов я сделал попытку прорваться к оцепленным. Нас отеснили в соседний переулок, но там я забрался на высокий каменный вазон возле книжного магазина и впервые охватил взглядом бунтующее пространство площади. На мгновение мне показалось, что людей в оцеплении двигает могучая подземная сила, колеблющая тектоническую плиту под их ногами. Вот мощный толчок выбросил из народной гущи очередного оратора. Ему тут же сотворили площадку из фанерной плиты, поддержанной снизу несколькими добровольными атлантами. Он выдержал краткую паузу и словно молнию метнул зачинную мысль: «Кончился век молчания и страха!»

Зот походил на говорящий памятник. Слова его дышали свежестью первосказания и ясно было, что ничего специально выученного в них нет. А есть только живое биение мыслей и чувств. Я энергично помахал рукой, но он не заметил. Да и не мог, торжественно поднятый над всеми назойливыми мелочами. Площадь, как будто, на время угомонилась и тоже слушала, как слушают сообщение о начавшейся войне или долгожданной победе.

Тут мне позвонили. Знакомый университетский преподаватель умолял приехать к нему и помочь настроить совершенно «тормозную» программу – без которой он далее не может существовать. Попытка вежливого отказа утонула в потоке жалобных причитаний и я поспешил успокоить нервного словесника дружеским согласием.

Мыслями я был там, в толпе, рядом с Зотом и твёрдо решил встретиться с ним в самое ближайшее время. Теперь у меня было что сказать ему...

«Вчера на Театральной площади нашего города, во время митинга, организованного активистами движения «АРИ», произошла трагедия... Погибли трое митингующих, оказавших сопротивление силам правопорядка. Один из них – рабочий завода «Луч», двое других – члены «АРИ». По делу ведётся ...»

Пульт прирос к моей руке. Что же они делают? Что же все они делают?! Очнувшись, я вскочил с дивана и подбежал к окну. Нежное, но уже позднее утро расцветало по ту сторону. Я открыл рамы и перегнулся через подоконник. Вот знакомый дед в смешной лыжной шапке трусит со стадиона, вот мирно курят очкастый дворник Митя с пропойцей без возраста, вот трамвайные рельсы, вот здание педколеджа... Ни одного нового движения в этом музее на открытом воздухе.

Я схватил мобильный и сделал три безуспешных дозвона Зоту. Четвёртый предотвратила своим звонком Диана. Не успев толком уяснить ситуацию, я принял её вызов.

– Вадим... Здравствуй, Вадим! Как ты?... Ты ведь знаешь, правда?

– О митинге или ... (или о твоём новом покровителе – хотелось съязвить мне).

– Да, о вчерашнем ужасе. Я звонила Зоту, но... Да и ты наверняка тоже. Домашний у них выключен. Надо ехать туда, слышишь?! Вот прямо сейчас и ехать.

– Твой словесный сумбур почему-то кажется мне убедительным. Едем. Прихвати с собой большую спортивную сумку и всё имеющееся мужество.

– Вадим, что же нас ждёт там за рекой?

– ...Мой оракул спит, а тебе советую отключить воображение. Пришла пора играть самих себя – таких, о которых обязательно вспомнят, когда станут подписывать приговор нашему времени.

Мы въехали на мост. Диана молчала. Водитель тоже молчал и глядел на дорогу как в компьютерный монитор. В конце моста резкий юго-западный ветер полоскал растяжку с чьим-то улыбающимся лицом. Вот буян на мгновение стих и я узнал эти популярные черты. Рядом мелькала двустрочная цитата, но мне был важен только Он.

«Поговорить бы с Ним... Поговорить без официозных липкостей – как с приятелем-ровесником и как с равным мне по любви ко всему свежему и молодому. Эти глаза с мальчишеской задоринкой, не видя всего, обещали многое:

– *Друг мой, современность заставляет нас думать о технических инновациях.*

– Техническое подождёт. Мы ведь и раньше обгоняли прорывом... Куда важнее раздобыть духовный огонь, возратить мечту, которая одна сможет больше, чем все запасы нефти и газа.

– *Да – система образования. Я предпринял меры: новые учебники, классы, возможности интерактива и прочее по пунктам. Неужели мало?*

– Мало, друг мой. Ты вновь говоришь о сопутствующем, а главного настойчиво избегаешь.

– *Чего именно?*

– О том и хочу я с тобой говорить...»

– Кажется, мы приехали, Вадим, – робко прозвучал голос Дианы.

Обязав водителя подождать, я вышел из машины. Двое худых мужиков пилили и строгали какие-то подозрительные доски.

Я поздоровался. Они угрюмо кивнули в ответ. Со стороны дома раздался надсадный женский плач. Затем мужской голос:

– Всёдагже и устроил он...А?! Засранец-то какой!

– Отстань...

– А ты не вой. Анфиска, скажи ей... И так башку ломит.

– Ой, да что же это... Да чего же он сотворил-то.

– Здравствуйте, – сказал я, взойдя на знакомое крыльцо.

– Привет. Знал что ли? – ответил мне, как я догадался, отец Андрея.

– Блиско...

Мать быстро взглянула на меня заплывшими от рыданий глазами и снова упала на плечо безмолвной, как сама смерть, женщины в лиловом платке.

Тихий Зотов лежал на сдвоенных лавках, покрытых условно белой простынёй, с лицом младенца, сильно зажмурившего глаза перед невыносимой яркостью мира. Фиолетовая змейка вокруг шеи досказала остальное. И мне сразу вспомнилось нелепое стальное кольцо на потолке его комнаты.

– Часу в шестом поди... Мы не слышали как и пришёл. Знал я, что митинг у него вместе с этими полудурошными...Ведь даже не пикнул, засранец. А всёдагже стул уронил – мать-то и проснулась.

– Мне нужно забрать его бумаги.

– Зачем тебе они?

– Это старая его просьба. Почти завещание. Отдадите?

– Вот ведь... А мне что! Бери. Теперь макулатуру не принимают... Валяться будет. Бери. Может тебе и надо. Выпить-то хошь?

– Спасибо. Меня ждут. А вы молчите. Никого у вас не было. Бумаги Андрей сам унёс и

вы даже не знаете когда точно.

– Так и скажем, так и скажем уж...ага. Слышишь, Нюра, скажем ведь?

– Отстань... Скажем...

Я дал им денег и, забрав у всё понявшей и от того побелевшей Дианы сумку, прошёл в дом... «Чисто прибранный стол, лампа без абажура, жёлтое обойное пятно на месте блоковского портрета. Предсмертная записка? Нет, эти пошлости для других. Он никогда бы не унился до столь беспомощного жанра».

Я спешил, я торопился отвоевать его у забвения...

– Вадим...

– Диана?

– Может сейчас и не время этих слов, но для меня очень важно сказать тебе... Сказать, что в моей жизни больше нет Станислава. Мы – я и ... – оказались людьми с разных планет, из разных галактик – если быть совсем точной. Были, конечно, и глупые слёзы, и досада... Впрочем, какой смысл в пересказе общих для всех банальностей. Прощай, Вадим. Я очень рада, что вновь узнала тебя. Рада, что теперь ты разговариваешь с людьми, а не с зеркалами. Прощай...

– Останься, Диана. Такой день трудно доживать в одиночку. Да и как я без твоей помощи управлюсь с архивом Андрея? Он завещан нам обоим – нам и решать его судьбу.

– Ты справишься ...

– Без тебя ни за что на свете – знаю. Останься.

– Как же просто мне сказать тебе «да». Как мне стыдно за эту лёгкость... Да, я согласна, согласна...

Я притянул её к себе и поцеловал. Внутри меня, вокруг нас сделалось так тихо и спокойно, что можно было услышать саму осень, медленно приближающуюся к городу...

Кладбище. Мы с Дианой стоим возле невысокого холмика, одетого живыми цветами, среди которых и наши астры. Через два ряда могил виднеется дорога с чуть прибитой ночным дождём пылью. Мы молчим. Рука Дианы тёплая и влажная: она то сжимает мою, то даёт ей некоторую свободу и легонько дрожит. Ей хочется говорить и я подбадриваю её решимость взглядом.

– Вадим, зачем он сделал это, почему не боролся дальше?

– Время баррикад прошло, Дианочка. И Зот, конечно же, всё понял. Но он был солдатом. Настолько солдатом, что не мог умереть тихой смертью обывателя.

– Не мог иначе... И в какое же время, после всего случившегося, мы по-твоему живём?

– В своё. Только от нас теперь зависит какая из него выйдет История.

– Да... Странно... История. Это слово всегда будило во мне невыносимую скуку и грусть, а теперь... Делать Историю, наверно, очень интересно.

– Что нам мешает?!

Послышался монотонный гул автомобильного двигателя и вскоре из-за пышного барбарисового куста выехал «Opel» Коцака... Вот он уже стоит рядом с нами: вихрастый, в изящном чёрном плаще, благоухающий ароматом сигариллы и парфюма.

– Приветствую и прошу не озадачивать себя вопросом: как Станислав Коцак узнал, что мы здесь? Это Жанна – мой старый новый ангел-хранитель. Жанна вторая и ...

– Станислав! – мягко, но решительно оборвала речь Коцака высокая, плавная в

движениях брюнетка.

– Прости, Жанет... Я сегодня определённый весельчак и остряк, и... как же дальше?...

– Знаешь ведь... Ну, признайся, кокетка, – парировала Жанна и по-хулигански чмокнула пухлыми губками.

– Согласен. А теперь положи эти мимозы к прочим цветам... Мы уезжаем сегодня, – обратился к нам Коцак, – Знайте же, вы были лучшими моими собеседниками, способными удивляться и удивлять. Идём, Жанет... Нас ждёт прощание с городом.

Они направились к машине, но едва минув черту последних могил Коцак обернулся:

– Вот кажется и начался этот невообразимый век! Прощайте...

Когда от Коцака и его спутницы осталось лишь призрачное облачко сгоревшего бензина, я посмотрел на смущённую Диану и тихонько сказал:

– Может пройдемся пешком? Здесь всего два километра до полиса.

– Magari [7].

И мы идём. Идём без оглядки: больше молчим, но про себя всё что-то спрашиваем друг у друга. Ни ветхость изб, ни лай цепных надсмотрщиков, ни тени их подозрительных хозяев, ни дорожная грязь, расхлябанная ручьями да колеями, более не видны нам.

Вершины жиденького ольшаника по обеим сторонам дороги румянятся в лучах невысокого утреннего солнца и как будто подсвечивают наш путь, провожают нас до самой церкви, недвижно плывущей вне этого времени и пространства. С запада, через земляной перешеек меж прудами, идут женщины в сопровождении детей и свиты редких мужчин. Они несут куличи и выкрашенные яйца. Иные идут с зажженными свечами, тихо напевая «Христос Воскресе из мертвых ...»

Нас обгоняют красивые автомобили и замирают в нескольких метрах от храмовой стены. Из них выходят нарядные люди: мужчины очень торжественны и серьёзны, женщины – хлопотливо милы.

Позади движется путаная стайка говорливых старух. На многих лицах недовольство соседствует с любопытством, а усталое безразличие с долгом. Батюшка, похожий на развесистый куст бузины, по своей воле встречает паломников у входа: кланяется, крестит, дарит улыбкой ...

– Как же долго мы шли сюда, – подрагивающим голосом произносит друг.

– Вместе и, в то же время, отдельно. Теряя, и вновь находя друг друга, – отвечаю я ему.

Я ждал от него чего-нибудь привычно язвящего, но он медлил с ответом. И эта тишина – вернее слов – открыла мне весь его путь сюда. То, что готовился я услышать, стало для него постыдной слабостью, давно пережитой душой, вырванной из уст. Он продолжал наслаждаться тишиной и я понял, что между нами больше не может быть слов, ибо все они растратились в пути.

Здесь мы остановились. Осенив меня печальным рассеянным взглядом, он вместе с батюшкой проследовал внутрь храма. Дверь медленно затворилась. Я же ещё долго стоял на оттаявшем пригорке, наблюдая в широком зеркале пруда медленное восхождение нового солнца.

Примечания

und anders mehr (нем.) –и прочее

Remarkably (англ.) –великолепно

My God (англ.) – мой Бог

Sit down please (англ.)– садитесь, пожалуйста

We often even do not know what we want (англ.) –часто бывает так, что мы сами не знаем

чего хотим

Adieu (англ.)– прощай

Magari (итал.) –пожалуй